PG2947 .B5 V46 1905

BOOK CARD

Blease keep this card in book pocket

Book pocket

THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL



ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG2947 •B5 V46 1905



This book is due at the WALTER R. DAVIS LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be renewed by bringing it to the library.

DATE DUE	RET.	DATE DUE	RET.
	,		
	4		
Form No. 513, Rev. 1/84			

Digitized by the Internet Archive in 2025 with funding from University of North Carolina at Chapel Hill

Цѣна 20 коп.

С. А. Венгеровъ.

Inoxa Htauxckazo.

(Общій очеркъ).

Публичная лекція.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія т-ва «Общественная Польза», Б. Подъяческая, 39. 1905.

Труды С. А. ВЕНГЕРОВА.

Иванъ Сергъевичъ Тургеневъ. Критико-біографическій этюдъ, Спб. 1875-77. Ц. 2 руб.

Алексъй Феофилантовичъ Писемскій. Критико-біографическій этюдъ, Спб. 1884. Ц. 1 руб.

Рудольфъ Гнейстъ. Исторія государственныхъ учрежденій Англіи. (Englische Verfassungs-Geschichte). Перев. съ нѣм. подъ ред. С. А. Вепгерова. М. 1885. Ц. 4 руб. 50 коп.

Русская Поэзія. Собраніе произведеній русскихъ поэтовъ, частью въ полномъ составъ, частью въ извлеченіяхъ. Съ критико-біографическими статьями, библіограф. примѣчаніями и портретами. Томъ I (выпуски 1—6). XVIII вѣкъ. Спб. 1897. Съ 23 портр. Ц. 8 р. Выпускъ VII. Спб. 1901. Ц. 1 руб.

Русскія книги. Съ біографическими данными объ авторахъ и переводчикахъ. Редакція С. А. Венгерова. Изданіе Г. В. Юдина. Спб. 1896—1898. Вышпо три тома. (А—Вавиловъ). Цѣна каждаго тома 3 р. 50 к. съ перес. 4 руб.

Основныя черты исторіи новъйшей русской литературы. Вступительная лекція, читанная въ Слб. университеть 23 сент. 1897. Слб. 1899. Цъна 20 коп. Нъмецкій переводъ: Grundzüge der neuen russischen Litteratur. Uebertragen von Traugott Pech. Berlin 1899. Stuhrsche Buchhandlung.

Источники словаря русскихъ писателей. (Ааронъ—Гоголь). Собралъ С. А. Вемеровъ. Спб. 1900. Изданіе Императорской Академіи Наукъ. Ц. 2 руб. 50 коп.

Собраніе сочиненій Шиллера въ переводърусскихъ писателей. Подъ редакціей С. А. Венгерова. Роскошное изданіе. Съ историко-питературными комментаріями, эстампами и рисунками въ текстъ. (Библіотека великихъ писателей, изд. Брокгаузъ-Ефрона). Спб. 1901—1902 г. 4 тома Цъна за 4 тома—20 руб., въ 4 переплетахъ 24 руб.

Полное собраніе сочиненій Шекспира въ переводь русскихъ писателей. Подъ ред. С. А. Вен.ерова. Роскошное изданіе, съ историко-литературными предисловіями къ каждой пьесъ, примъчаніями, эстампами и рисунками въ тексть. (Библіотека великихъ писателей, изд. Брокгаузъ-Ефрона). Спб. 1902—1904. 5 томовъ. Цъна за 5 томовъ 25 руб., въ 5 переплетахъ 30 руб.

BAT rereng

Книгоиздательство "СВѣТОЧЪ" № 3.

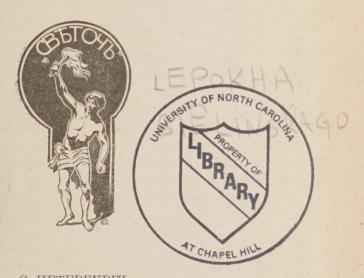
С. А. Венгеровъ.

ee PG 2947 B5 V46 1905

Inoxa Htauxckazo.

(Общій очеркъ).

Публичная лекція.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Типографія т-ва «Общественная Польза», Б. Подъяческая, 39.

1905.



2548/4

Эпоха Бѣлинекаго.

Годы, къ общему обзору литературной исторіи которых в сейчасъ собираюсь приступить, принято у насъ называть Гоголевским в періодомъ.

Трудно придумать обозначеніе, мен'єе подходящее къ сущности эпохи, чамъ это. И если обратиться къ исторіи происхожденія термина «Гоголевскій періодъ», то полная непригодность его станеть еще яснье.

Терминъ созданъ Чернышевскимъ. Когда онъ въ 1855 году началь въ «Современникъ» рядъ сгатей о тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, то главною цёлью его было возстановить въ памяти чита» телей деятельность Белинскаго: ему посвящена значительнейшая часть статей. Но имя Бълинскаго нельзя было въ то время называть: реакція, наступившая у насъ благодаря опасеніямъ, вызваннымъ европейскими революціонными событіями 1848 года, отнеслась къ двятельности Вълинского кокъ къ чему-то противозаконному. Такъ всёмъ подсудимымъ по литературно-политическому дёлу Петрашевскаго было вивнено въ проступокъ, что они читали знаменитое негодующее письмо Бълинскаго къ Гоголю, полное выходокъ противъ недостатковъ нашего строя. Вотъ почему за все семилътіе (1848—1855), отдёляющее смерть Бёлинскаго отъ начала новаго парствованія, имя Білинскаго не упоминается въ журналистикъ. Чернышевскій началь свои очерки въ первые місяцы новаго парствованія, когда старыя традиціи еще не уступили міста новымъ Но вотъ наступають новыя въянія и это очень быстро сказалось на «Очеркахъ» тъмъ, что въ четвертой стать в имя Вълинскаго уже было, наконецъ, произнесено. Въ первыхъ же статьяхъ, повторяю, Бълинскаго назвать еще нельзя было. Чернышевскому, слъдовательно, нужно было придумать своего рода псевдовимъ, надо было говорить о Бълинскомъ иносказательно. Онъ и придрался къ тому, что въ то время выходило собрание сочинений Гоголя. Это давало поводъ говорить объ умственномъ движеніи 30-хъ и 40-хъ годовъ. А такъ какъ надо было выдумать безобидную кличку, то слова «Гоголевскій періодъ» какъ-бы сами напрашивались на языкъ. И пошло это названіе, и утвердилось оно такъ, какъ будто вполнъ выражало намфренія автора статей. А между тімь достаточно посмотріть одно только оглавление «Очерковъ Гоголевскаго періода», чтобы уб'вдиться, что Гоголь тутъ ни причемъ: Гоголю посвящено въ нихъ меньше 20-ти страницъ изъ 380, очерки трактуютъ исключительно о теоретической русской мысли, на которую ужъ, конечно, Гоголь не могъ оказать никакого вліянія. Критика Белинскаго, правда, въ числе своихъ другихъ заслугъ, имфетъ и заслугу правильнаго истолкованія Гоголя. Безспорно вообще, что, за исключеніемъ Булгарина, всѣ литературныя партіи 40-хъ годовъ чрезвычайно высоко цвнили Гоголя, -- но отсюда до наложенія отпечатка на всю эпоху еще очень палеко.

Я не стану касаться поднимаемаго не разъ вопроса о томъ, отъ кого пошла новая русская литература? — отъ Пушкина или отъ Гоголя. Но внѣ спора во всякомъ случаѣ то, что дѣятели сороковыхъ годовъ уже застали Гоголя большою литературною величиною, — слѣдовательно, онъ относится къ эпохамъ предыдущимъ. И, наконецъ, достаточно вспомнить письмо Бѣлинскаго къ Гоголю по поводу «Переписки съ друзьями», чтобы окончательно рѣшить вопросъ о томъ, мыслимо-ли назвать именемъ Гоголя тотъ періодъ, который такъ далеко разошелся съ Гоголемъ въ пониманіи существенаѣйшихъ сторонъ русской жизни.

Нътъ, вторую половину тридцатыхъ годовъ и сороковые годы нужно непремънно назвать эпохой Бълинскаго, какъ по тому центральному значенію Бълинскаго, которое онъ тогда занялъ въ журналистикъ, такъ

и потому еще, что никто изъ остальных двятелей эпохи не дошель въ эти годы до полнаго развитія своихъ литературныхъ силь. Умершій въ 1848 году Бѣлинскій одинъ въ сороковыхъ годахъ обрисовался во всю свою величину. Остальные сверстники его, за исключеніемъ развѣ Грановскаго, всю силу своихъ талантовъ развернули уже послѣ его смерти—въ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годахъ.

I.

Исторія умственнаго движенія 30-хъ и 40-хъ годовъ тѣснѣйшимъ образомъ переплетена съ исторіей московскаго университета за это время. Въ началѣ 30-хъ годовъ въ немъ учились почги всѣ главныя силы новой русской литературы. Лермонтовъ, Гончаровъ, Герценъ, Огаревъ, Станкевичъ и второстепенные члены его знаменитаго кружка, Константинъ Аксаковъ и наконецъ Бѣлинскій—все это студенты московскаго университета конца 20-хъ и начала 30-хъ годовъ.

Въ знаменательное время попали они въ университетъ. Въ началь тридцатых годовь московскій университеть находился на рубежъ совершенно повой эпохи, на рубежъ ръзкой перемъны въ профессурт и студенчествт. Цтлый рядь молодыхь профессоровъ: шеллингистъ Павловъ, даровитый Надеждинъ, Шевыревъ-тогда еще молодой энтузіасть, только что вернувшійся изь-за границы и еще не превратившійся въ того сухого педанта, съ которымъ ожесточенно ратоборствовалъ впоследствии кружокъ Белинскаго, Погодинъ, тоже еще молодой и свёжій, —всё эти молодыя селы впесли новый дукъ въ университетское преподавание, который и не замедлилъ произвести въ немъ радикальныя перемёны. Вмёсто прежвяго монотовнаго считыванія съ старыхъ тетрадокъ, въ незапамятныя времена заготовленныхъ и изъ года въ годъ, безъ малѣйшихъ перемѣнъ, повторяемыхъ, съ профессорской канедры послышалось живое слово, стремившееся отразить въявія времени, удовлетворить нарождающимся потребностямъ жизни. Параллельно этимъ перемънамъ въ профессорской средь, происходить большая перемына и въ московскомъ студенчествъ. Студентъ изъ бурша превращается въ молодого человъка, поглощеннаго высшими стремленіями. Прежніе патріар-хальные нравы, когда московскіе студенты, главымъ образомъ, занимались пьянствомъ, буйствомъ, залираніемъ прохожихъ мало по малу начинаютъ отходить въ область предавій. Правда, и въ годы вступленія Бѣлинскаго въ университетъ студенты забавлялись еще подчасъ разными чисто-школьническими шалостями и продѣлками. Но въ общемъ, все-таки, эти времена буйства, школьничества и незнанія куда дѣть запасъ юношескихъ силъ рѣшительно проходятъ и замѣняются стремленіемъ къ «солнцу истины», какъ выражается Константинъ Аксаковъ въ своихъ университетскихъ воспоминаніяхъ. Начинается образованіе среди московскихъ студентовъ тѣсно силоченныхъ кружковъ молодыхъ людей, восторженныхъ и чистыхъ, сходящихся затѣмъ, чтобы выяснить себѣ вопросы правственные, философскіе, политическіе.

Студенчество новаго типа сгруппировалось по преимуществу въ двухъ кружкахъ— Станксвили и Гермена. И какъ это ин странно, но почти все, чёмъ славно поколеніе сороковыхъ годовт, или прямо вышло изъ этихъ двухъ кружковъ или тёсно къ нему примыкало. Везусловно правъ Герценъ, когда, вспоминая въ «Быломъ и Думахъ» о студенческихъ кружкахъ своего времени, говоритъ о лицахъ, входившихъ въ составъ ихъ: «Можно сказать, что въ то время Россія будущаго существовала между вёсколькими мальчиками, только-что вышедшими изъ дътства. Въ нихъ было наслёдіе общечеловъческой науки. Это были зародыши исторіи, незамѣтные, какъ зародыши вообще. Слабые, ничтожные, ничёмъ не поддерживаемые, они легко могли-бы погибнуть безъ слёда, но они остаются, а если и умираютъ на полдорогѣ, то не все умираетъ съ ними».

Оба кружка, хотя и одушевленные однимъ и тѣмъ-же жаромъ высокихъ стремленій, почти не имѣли между собою общенія и отчасти даже враждебно относились другъ къ другу. Они были представителями двухъ направленій. Кружокъ Станкевича интересовался по преимуществу вопросами отвлеченными—философіей, эстетикой, литературой и былъ довольно равнодушенъ къ вопросамъ политическимъ и соціальнымъ. Напротивъ того, кружокъ Герцена, тоже очень

интересовавшійся философіей, не особенно интересовался литературой, а все свое вниманіе сосредоточиваль на вопросахь политики дня и вопросахь соціальнаго устройства. Бурная жизнь іюльской монархіи и ученіе Сень-Симона составляли преобладающій интересь Герцена и его друга Огарева. Кружку Герцена весьма скоро пришлось столкнуться съ тѣмъ, что на жаргонѣ того времени называлось «дѣйствительность» поступила съ ними безъ всякой нѣжности, размѣстивъ ихъ по разнымъ уголкамъ Россіи. Поэтому на литературномъ поприщѣ они появляются позже, чѣмъ члены кружка Станкевича.

Въ составъ первоначально чисто-студенческаго кружка Станкевича, продолжавшаго жить въ тъснъйшемъ духовномъ общении и восторженвъйшей дружов и послъ того, какъ члены его въ 1834—35 гг. оставили университетъ, входили люди неодинаковой умственной и нравственной величины. Вгоростепенное значение имъютъ: рано умершій историкъ и археологъ Сергъй Строевъ: довольно посредственный поэтъ, впослъдстви профессоръ кіевскаго университета Красовъ; гораздо выше послъдняго стоящій поэтъ-философъ Ключниковъ, извъстный подъ своимъ псевдонимомъ—о—, и наконецъ Невъровъ, получнвийй впослъдствіи извъстность въ качествъ попечителя Кавказскаго учебнаго округа. Цвътъ сообщали кружку прежне всего самъ Станкевичъ, затъмъ Константинъ Аксаковъ и Бълинскій. Черезъ годъ, два послъ того, какъ кружокъ покончилъ университетскія дъла свои, къ нему тъснъйшимъ образомъ примыкаютъ четыре крупнъйшихъ дъятеля: Бакунинъ, Катковъ, Василій Боткинъ и Грановскій.

Перечисленныя лица были люди различныхъ темпераментовъ и душевныхъ организацій. Но всёхъ ихъ силачивало въ одно обаяніе необыкновенно свётлой, истинно-идеальной личности Ставкевича. Станкевичъ представляетъ собою чрезвычайно рёдкій прим'єръ литературнаго д'ятеля, не им'єющаго викакого значенія какъ писатель и тёмъ не мен'є наложившаго яркую печать своей индивидуальности на одинъ изъ важн'єйшихъ періодовъ русской литературы. Какъ писатель, Станкевичъ авторъ очень илохой quasi-исторической драмы, слабой пов'єсти, лвухъ-трехъ десятковъ стихотвореній вполн'є второстепеннаго значенія, и н'єсколькихъ отрывковъ философскаго

характера, правда, довольно интересныхъ, но найленныхъ только послѣ смерти въ бумагахъ его и напечатанныхъ цѣлыхъ 20 лѣтъ спустя. Весь этотъ незначительный литературный багажъ вижстж съ переводами заняль небольшой томикь, и не въ немъ, конечно. источникъ огромнаго вліянія Станкевича. Оно зиждется, помимо красоты его нравственнаго существа, на томъ, что Станкевичъ, обладая литературнымъ и научнымъ талантомъ, былъ темъ не менъе очень талантливою личностью просто какъ человъкъ. Одаренный тонкимъ эстетическимъ чутьемъ, глубокою любовью къ искусству, большимъ и яснымъ умомъ, способнымъ разбираться въ самыхъ отвлеченныхъ вопросахъ и глубоко вникать въ сущность всякаго вопроса, Станкевичь даваль окружающимъ могущественные духовные импульсы и будилъ лучшія силы ума и чувства. Его живая, умная и часто остроумная бестда была необыкновенно плодотворна для всякаго, кто вступаль съ нимъ въ близкое общение. Онъ всякому спору умёль сообщать высокое направленіе, все мелкое и недостойное какъ-то само собою отпадало въ его присутствін, какъ и въ присутствій Б'ялинскаго. Станкевичь представляль собою удивительно гармоничное сочетание нравственныхъ и умственныхъ достоинствъ. Въ идеализмъ Станкевича не было ничего напускного или приподнятаго, идеализмъ органически провикалъ все его существо, овъ могъ легко и свободно дышать только на горных высотахъ духа.

Въ 1837 году начинающаяся чахотка и жажда приложиться къ самому источнику философскаго знанія погнали Станкевича заграницу. Онъ подолгу живаль въ Берлинѣ, гдѣ вступилъ въ тѣсное общеніе съ душевно полюбившимъ его профессоромъ философіи гегельянцемъ Вердеромъ. Въ это время въ сферу его обаянія попали питомцы петербургскаго университета — Грановскій и Тургеневъ. Въ 1840 году двадцатисемилѣтній Станкевичъ умеръ въ итальянскомъ городкѣ Нови. Ранняя смерть его произвела потрясающее впечатлѣніе на друзей его, но вмѣстѣ съ тѣмъ она какъ-то необыкновенно гармонично и художественно завершила красоту его образа.

Et rose elle a vecu ce que vivent les roses L'espace d'un matin, сказаль французскій поэть про умершую въ цвётё лёть дёвушку и находить въ этой гармоніи примиреніе съ ужаснымь фактомъ. Душевная красота Станкевича была тоже своего рода благоуханнымь цвёткомъ, который могь бы и выдохнуться при болёе прозаическихъ условіяхъ, какъ выдохся, напр., идеализиъ его друга и кумира Невёрова. Теперь-же, благодаря трагизму судьбы Станкевича и цёльности оставленнаго имъ впечатлёнія, имя его стало талисманомъ для всего поколёнія 40-хъ годовъ и создало желаніе приблизиться къ нему по нравственной красотё.

Преобладающимъ интересомъ кружка Станкевича было изучение германской идеалистической философіи. Изъ университета члены кружка, подъ вліяніемъ лекцій Павлова и Надеждина, вынесли интересъ къ Шеллингу, съ его шпрокимъ взглядомъ на міръ, какъ на развитіе одной всеобщей, объединяющей и творящей иден. Во второй половинъ 30-хъ годовъ поэтически-восторженный идеализиъ и пантензиъ Шеллинга вытъсняется суровой схемой Гегелевскаго міропониманія. Увлеченіе кружка гегельянствомъ было безифрное и дошло до истинной страсти. По свидътельству Герцена, котораго не было въ Москвъ, когда началось увлечение Гегелемъ, и который засталъ его апогей по своемъ возвращении въ Москву, въ ковци 1830-хъ годовъ, члены кружка отъ всякаго, приходившаго съ ними въ сголкновеніе, «требовали безусловнаго принятія феноменологін и логики Гегеля и притомъ по ихъ толкованію. Толковали же они объ нихъ безпрестанно, нътъ параграфа во вобкъ трекъ частяхъ гегелевской логики, въ двухъ его эстетики, энциклопедін и пр., который бы не быль взять отчаянными спорами нёскольких вочей. Люди, любившіе другь друга, расходились на цёлыя недёли, не согласившись въ опредвленіи «перехватывающаго духа», принимали за обиды мивнія объ «абсолютной личности» и о ея «по себ'я бытіи». Вс'я ничтоживышія брошюры, выходившія въ Берлины и другихъ губерискихъ и увздныхъ городахъ нёмецкой философіи, гдё только упоминалось о Гегель, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятенъ, до паденія листовъ, въ нёсколько дней».

Это увлеченіе гегеліанствомъ порою доходило у членовъ кружка до наивно-трогательныхъ проявленій. Молодые люди такъ преиспол-

вились ученіемъ берлинскаго философа — что у нихъ «отношеніе къ жизни, къ действительности сделалось школьное, книжное; это было то ученое понимание простыхъ вещей, надъ которымъ такъ геніально смізялся Гете въ своемъ разговоръ Мефистофеля со студентомъ. Все въ самомъ деле непосредственное, всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, блёдной, алгебранческой тёнью. Во всемъ эгомъ была своеобразная наивность, потому что все это было совершенно искрение. Человъкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобы отдаваться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ; и, если ему попадался по дорогъ какой-инбудь солдать подъ хивлькомъ или баба, вступавшая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредълялъ субстанцію народности въ ен непосредственномъ и случайномъ явленіп. Самая слеза, навертывавшаяся на в'кахъ, была строго отвесена къ своему порядку, къ «гемюту» или къ «трагическому въ сердцѣ»...

На увлеченін Ставкевича и его друзей гегельянствомъ впервые ярко сказалась та основная черта русскаго усвоенія отвлеченныхъ пдей, которая проходить красною нитью чрезъ всю нашу духовную жизнь последнихъ 50 -- 60 летъ. Въ томъ-то и дело, что отвлеченныя идеи никогда не оставались для насъ отвлеченными, а, переходя въ плоть и кровь, быстро переводились на языкъ дъйствительности и становились чемъ-то очень конкретнымъ. И интересъ къ философіи у людей сороковыхъ годовъ никогда не быль интересомъ къ философіи and und für sich. Есть два типа интереса къ философіи. Можно ею интересоваться, какъ наукой, какъ дисциплиною объясняющею. Этоть чисто-научный типь интереса господствоваль въ нашихъ духовныхъ академіяхъ, гдв задолго до того. какъ философія завладівла умами світскаго общества, превосходно изучали вев главныя философскія системы. Если хотите, таксе отношеніе-вполнъ европейское, культурное, можетъ быть объясняемо твиь, что культура духовнаго сословія нашего старше культуры свътскаго общества. Но вибстъ съ тъмъ въ этомъ отношении и достаточно... равнодушія къ истинъ. Ну, а равнодушіемъ къ истинъ

и холоданиъ объективизмомъ поколъние сороковыхъ годовъ всего менве отличалось. И вотъ почему оно и къ широкимъ перспективамъ гегелевскаго мірообъясненія отнеслось не съ холоднымъ любопытствомъ, а внесло въ ихъ устоение всю страсть людей, никущихъ духовной опоры и жаждущихъ найти мфру вещей. Для нихъ философія стала въ полномъ смыслѣ слова религіей, не разъ доводившей ихъ до состоянія прямого экстаза. Неудивительно, что чисто научный интересъ отошелъ при этомъ совершенно на второй планъ. «Мы тогда въ философіи искали всего на свъть, кромю чистаго мышленія», говорить Тургеневь въ своихь воспоминаніяхъ, и это драгоціннійшее свидітельство даеть единственно в врный методъ оцвнки философскихъ увлеченій эпохи Вълинскаго. Комичны, поэтому, новъйшія напалки на Вълинскаго и его друзей за то, что они не втрно поняли Гегеля. Эти нападки комичны, прежде всего, по существу. Они основаны по преимуществу на томъ, что Билинскій плохо зналь по-нимецки, Гегеля въ подлинникъ не читалъ и звакомъ былъ съ нимъ по передачъ друзей, въ частности Бакунина. Но діло-то въ томъ, что это была передача, которая превосходила непосредственное знакомство. Герценъ, въ высокой компетентности котораго по отвошению къ философскимъ вопросамъ никто еще никогда не сомиввался, говорить, что изъ вейхъ людей, изучавшихъ Гегеля, снъ встрениль телько двухъ, которые поняли великаго философа въ совершенствъ, и обл эти человъка не знали по-нъмецки: то были Прудонъ и Бълинскій, оба-ученики одного и того же Бакунива. По отзыву другого компетентнаго судын-квязя Одоевскаго, Бълинскій представляль собою примъръ замъчательнъйшей философской духовной организаціи, которой достаточно было усвоить основныя начала, чтобы затёмъ уже самостоятельнымъ путемъ дойти до всёхъ ихъ логическихъ послёдствій. Вотъ почему и Гегеля Балинскій превосходно поняль по пересказу Бакунина и Станкевича.

Итакъ, повторяю, упреки въ томъ, что въ кружкѣ Бѣлинскаго плохо знали Гегеля, комичны по существу. Но они еще болѣе комичны по тѣмъ негодующимъ выводамъ, которые изъ нихъ сдѣлали люди, взявшіеся изучать умственныя движенія русскаго общества, не

уяснивъ себъ главной особенности ихъ — способности претворять заимствованныя извай отвлеченныя системы въ нёчто вполни самостоятельное, въ чисто русскій катехизись практической жизни. Попустимъ, что Бълинскій не понялъ Гегеля и даже совершенно «извратилъ» его. Что бы изъ этого следовало? Единственно тотъ фактъ вполнъ второстепеннаго значенія, что умственная жизнь русской интеллигенціи 40-хъ годовъ шла безъ воздействія на нее подлинной гегелевской философіи. А такъ какъ философія Гегеля даже и въ подлинномъ видъ пи въ какомъ случав не можетъ быть признана универсальнымъ фактомъ правильнаго умственнаго развитія, какимъ должны быть признаны, напр., естественно-научный методъ или критическая философія Канта, то и ущерба никакого не произошло бы отъ «извращенія» Білинскимъ гегельянства. Въ современной Бѣлинскому Франціи и Англіи Гегеля совсѣмъ не знали, и это не помѣшало имъ развить первостепенную культуру. Обошлась бы, сл'ядовательно, отлично и Россія безъ «правильно» понятаго гегельянства. Весь интересъ «правильно» или «неправильно» понятаго русскаго гегельянства только въ томъ и заключается, поскольку онъ является русскили умственнымъ теченіемъ. Исходи онъ даже изъ полнаго непониманія, его огромный интересъ для историка русской мысли и русскаго общества столь же мало ослаблялся бы этимъ, какъ не ослабляется, напр., историческій интересъ католицизма и протестантства, если допустить, что они отступили отъ ученія первоначального восточного христіанства. Дійствительный интересь русскаго гегельянства только въ томъ необыкновенномъ подъемѣ духа, который гегельянство сообщило покольнію сороковых годовь. Изъ брожевія мысли, имъ созданваго, вытекли два основныхъ русла русскаго самосознанія: западничество и славянофильство; гегельянство не только сообщило русской интеллигенціи то, чего ей прежде недоставало — опредъленное міровоззрівніе, но, что самое важное, оно создало неотложную потребность всегда имъть какое вибудь міровоззржніе. А эта опреджленность міровоззржнія была единственнымъ способомъ воздействія на косность окружающей среды. Талантовъ было достаточно и до сороковыхъ годовъ. Но эти таланты по своимъ идеаламъ сливались съ толпой и потому поглощались ею и были безсильны окрасить ее въ свой цвът. Людей же сороковыхъ годовъ высота ихъ міровозэрінія сразу выдвинула надъ толпой, создался маякъ мысли, который далеко вокругъ бросалъ лучи свъта. Прошло какихъ-нибудь 15 лёть, и то, что вырабатывалось въ дружескихъ собраніяхъ инчтожнымъ количествомъ горсточки людей, оказало могущественнъйшее вліяніе на весь ходъ огромной государственной машины, которая направилась теперь по путямъ, намвченнымъ въ 40-хъ гг. кучкой гегельявцевъ. И вотъ въ этомъ одухотворенія свраго фона русской жизни, въ этомъ созданіи высокаго строя мысли, въ силв и страстности стремленія привести въ соотвітствіе русскую дъйствительность съ высшими потребностями культуры и заключается историческій смысль русскаго гегельянства, который, строго говоря, и не быль викогда опредвленнымь міровоззравіемь, который то прославляль «дёйствительность», то нападаль на нее, то быль консервативень, то радикалень, то даваль толчекь къ преклоненію предъ Западомъ, то, напротивъ того, служилъ исходнымъ пунктомъ самаго исключительнаго націонализма.

Провозвъстникомъ гегельянства въ кружкъ Станкевича явился по преимуществу Михаилъ Вакунинъ. Этому отставному артиллерійскому офицеру предстояло пріобрасть въ 60-хъ и 70-хъ годахъ всемірную изв'ястность въ качеств'я самаго крайняго изъ самыхъ крайнихъ утопистовъ. Онъ создаль теорію безпощаднийнаго анархизма и полнаго упраздненія государственности. Стоявшій въ то время во главъ соціалистическаго движенія Карлъ Марксъ долженъ быль прибъгнуть къ псключенію Бакунина изъ главнаго органа партін — «Международнаго общества рабочихъ» для того, чтобы устранить даже твнь солидарности съ этимъ апостоломъ всеобщаго разрушенія. Но по странной пронін судьбы тоть же Бакунинь, который въ серединѣ 40-хъ годокъ, перебравшись въ Европу, выдвинуль въ одной изъ своихъ статей страшный девизъ: «Die Lust der Zerstörung ist eine schaffende Lust» (страсть къ разрушенію есть зиждущая страсть), въ концѣ 30-хъ не только не имълъ ничего общаго съ разрушительными стремленіями, во прямо пришель къ аповеозу существующаго порядка. На основании Гегелевской философіи создаль овъ теорію преклоненія предъ «дійствительностью» и увлекъ за собою кружокъ Станкевича, всёхъ же сильневе—Белинскаго.

Вопросъ о «дъйствительности» и ея «разумности» является нентральнымъ пунктомъ всей духовной жизни кружка Станкевича въ эпоху его увлеченія гегельянствомъ и это еще разъ доказываетъ, въ какую грубую ошибку впадають тв, которые, изучая движение 40-хъ годовъ, разсматриваютъ философские взгляды эпохи Велинскаго исключительно съ научной точки зрвнія. Не знаменательна ли въ самомъ дёлё та исключительность, съ которою всё силы ума и сердца Вёлинскаго и его друзей обратились на толкование положения Гегеля: «Все отвіствительное—разилино», — положенія въ конц'я концовъ второстепеннаго, мимоходомъ высказаннаго въ предисловін къ «Философін Права». Если вы возьмете какую-вибудь поздивншую исторію философін и прочтете статью о Гегель, вы тамъ часто не встрътите даже простого упомиванія о формуль «все дійствительное — разумно» 1). Вотъ до чего маловажной она кажется обыкновенному изслѣд вателю рядовъ съ грандіозностью чисто научныхъ пригязавій гегелевской философіи дать абсолютную истину о сущвости всего мірового процесса. Но для русскаго человіна сороковых в годовь, который накинулся на гегелевскую философію не изъ жажды научнаго знанія, а потому, что ему надо было немедленно рішить вопросъ, кикъ ему жинть, все отступило предъ жгучестью ужасныхъ сомивній, вносимыхъ формулой.

Сомивнія эти имвли истинно-трагическій характеръ; формула въ корив подрывала всв стремленія кружка, двлала безсмысленными всв его благородные порывы. Люди съ негодованіемъ отбросили всякую мысль о какихъ бы то ин было компромиссахъ, сосредоточили всв свои номыслы на исканіи абсолютной, безпримѣсной истины и этимъ самымъ, конечно, должны были порвать всякую связь съ пошлостью и несовершенствами окружающей среды, и вдругъ—«все дъйствительное—разумно!» Вначитъ, и крѣпостное право разумно, и превосходенъ весь тотъ строй, который возмущалъ еще Чацкаго, и

⁴⁾ Укажу на цёлую книгу о Гегелё Кэрда (М. 1898), на огромпую статью-трактать Владиміра Соловьева вь "Энцикл. Словаръ" Брокгаузъ-Ефрона.

итт ничего дурного въ той «неправдв черной», о которой говорили даже такіе апологеты общаго уклада русской жизип, какъ Хомиковъ. Словомъ, правы Булгаринъ и Гречъ: «Громъ побѣды раздавайся, веселися, храбрый Россъ!»

Какъ бы отнеслись къ такому ужасному диссонансу люди, заинтересовавшиеся гегельянствомъ съ чисто научной точки зрѣнія? Они бы, конечно, спокойно отбросили или формулу, или всю систему, разъ она приводитъ къ противорѣчію, которое ставитъ крестъ надъ всѣмъ, что составляетъ основу ихъ духовнаго существа. Но въ томъ-то и дѣло, что члены кружка Станкевича не столько умомъ, сколько сердцемъ примкнули къ гегельянству, они гегельянство не только усвоили,—они въ него увѣровали. Ихъ въ гегельянствѣ прельстило его притязаніе дать абсолютную истину. А разъ абсолютная истина, какія же могутъ быть частныя противорѣчія?

И воть получилась дилемма, выходъ изъ которой быль найдень только чрезъ ивсколько льтъ, когда наши гегельянцы поняли. что Гегель, при всемъ консерватизм' своихъ спеціально-государственныхъ воззрвній, не все существующее признаваль дъйствительными. Спидовательно, формула «все дийствительное — разумно» не означаеть, что «все существующее разумно» и не узакониваетъ всякій порядокъ вещей только въ визу того, что онъфакть. Но, повторяю, до этой оговорки наши гегельянцы доискались позже. Цалыхъ же два года, между 1838 и 1840 годомъ. будущій создатель авархизма Бакувнив, вфрный фанатическому складу своего ума и чисто-русской способности jurare in verba magistri, во имя Гегеля воспѣваль «дѣйствительность» конца 30-хъ годовъ во всей ея совокупности. Вёлинскій, не оглядываясь, пошелъ за иимъ. Онъ написалъ въ 1840 г. извёстную статью о «Бородинской годовщинв», гдв преклонение передъ существующимъ порядкомъ вещей дошло до того, что многіе, и притомъ совствив не люди крайнихъ убъжденій, съ нимъ раззнакомплись. Статья была написана въ своего рода состояніи аффекта. Внутренно содрагаясь отъ созвавія, что обрекаетъ себя на нравственную смерть, Бѣлинскій тѣмъ не менъе безстрашно шелъ на все ad majorem Hegelii gloriam. Не доходить до конца для него было равносильно измёнё. Именно по поводу статьи о «Бородинской годовщинъ», Герценъ говоритъ, что Бълинскій, разъ усвоивши себъ то или другое воззрѣніе, «не блѣднѣль ни передъ какимъ послѣдствіемъ, не останавливался ни передъ моральнымъ приличіемъ, ни передъ мнѣніемъ другихъ, котораго такъ страшатся люди слабые и несамобытные. Въ немъ не было робости, потому что онъ былъ силенъ и искрененъ, его совѣсть была чиста». Понявши извѣствымъ образомъ формулу Гегеля, онъ проповѣдывалъ въ концѣ тридцатыхъ годовъ «индійскій покой созерцанія и теоретическое изученіе вмѣсто борьбы», проповѣдывалъ съ тою же лихорадочною страстностью, съ какою чрезъ полтора - два года нападалъ на представителей квіетизма, и требовалъ активнаго противодѣйствія тяжелымъ общественнымъ условіямъ дореформенной эпохи.

Таковы общіе контуры русскаго гегельянства, столь мало имфющіе общаго съ заправскою философіею. И эту же мало-научную и исключительно-жизненную окраску носять всё дальнёйшія движенія русской теоретической мысли, вплоть до нашихъ дней. Послѣ Гегеляфранцузскіе утописты 40-хъ годовъ; въ 60-хъ годахъ — нѣмецкіе матеріалисты, Дарвинъ, Милль, Бокль; въ 70-хъ и 80-хъ годахъсоціологія; въ наши дни — марксизиъ и идеализиъ, все это не болье какъ отправные пункты, отъ которыхъ идутъ самостоятельные русские пути. У насъ, какъ извъстно, установился особый типъ критическихъ статей «по поводу», въ которыхъ собственно о самомъ произведени говорится весьма мало, а выясняются разные вопросы общественной жизни. Ну, вотъ и философскія системы Запада у насъ были не больше, какъ поводомъ къ выработкъ чисторусскихъ общественныхъ системъ. Такъ, умственное движеніе, напитавшееся идеями ваучнаго матеріализма и утилитаризма, въ результат в дало самое самоотверженное и великодушное изо всёхъ русскихъ поколеній — альтрунстовъ 70-хъ годовъ; такъ, напротивъ того. прикрываясь эстетическимъ и философскимъ идеализмомъ, выступило на сивну «кающемуся дворянству» 70-хъ годовъ черствое и неискреннее покольние 80-хъ и начала 90-хъ годовъ.

Возвращаясь опять къ эпохѣ Бѣлинскаго, отмѣчу еще то, что изъ одного и того же гегельянства вышли не только два такихъ непохожихъ теченія, какъ прославленіе «дѣйствительности» и на-

падки на нее, но и оба діаметрально-противоноложныя міровоззрѣнія, борьба между которыми не кончилась до сихъ поръ: славяно фильство и западничество. Ультра-національное, славяно-византійское ученіе Константина Аксакова, Кирѣевскаго и Хомякова брало многія схемы своихъ воззрѣній у Гегеля эпохи его возведенія прусско-протестантскаго строя 20-хъ годовъ въ перлъ создапія. Но, конечно, все это подверглось впелнѣ русской переработкѣ и телько переработка и интересна для историка русской мысли, совершенно незаввсимо отъ того, въ какомъ видѣ тутъ является подлинный, «научный» Гегель.

Изъ лицъ, вошедшихъ въ составъ кружка Станкевича, послѣ того, какъ овъ оставилъ университетъ, кромѣ Бакунина, следуетъ еще отмътить Василія Боткина 1). Для средняго читателя это имя говорить очень мало. Въ лучшемъ случав его знаютъ какъ автора «Писемъ объ Испаніи», произведенія уже по самому роду своему могущаго имъть только второстепенное значение. И тъмъ болже, что оригинальность «Писемъ» сильно заподозржна. А между темъ, Василій Боткинъ имеетъ безусловно серьезное значеніе въ исторіи нов'яйшей русской литературы. Оно аналогично значенію Станкевича, съ темъ только отличіемъ, что Стапкевича въ одинаковой степени вліяль и высотою правственной своей личности, и своими замъчательными интеллектуальными силами, между твиъ какъ Боткинъ оказывалъ вліяніе только въ сферв интеллектуальной своими замівчательными познаніями по литературів и искусству и своимъ тонкимъ эстетическимъ вкусомъ. Кромф того, Станкевичъ повліяль на весь кружокъ, а Боткинъ только на одного изъ членовъ его. Но за то этотъ одинъ былъ Бѣлинскій. Размвръ вліянія виденъ изъ того, что когда въ 1857 году Дружининъ приступалъ къ ряду статей о Бёлинскомъ, онъ собирался прямо заявить о первостепенномъ значеніи, которое им'яль Воткинъ для всего хода умственнаго развитія знаменитаго критика. Боткинъ поспъшилъ отклонить отъ себя эту великую честь и просилъ

^{&#}x27;) На Катковъ я останавливаться не буду. Его значеніе относится къ послъдующей эпохъ.

Дружинина «какъ можно меньше говорить о какой-либо помощи, какую я могъ оказывать Вѣлинскому». Со свойственной ему скромностью Боткинъ прибавилъ: «И какъ можно мнѣ объ этомъ судить? Это дѣло посмертныхъ замѣтокъ, т. е. замѣтокъ обо мнѣ, когда я умру. Найдутся люди, которые теперь сочтутъ такого реда «нзвѣстія» за поползновенія съ моей стороны придать себѣ какое-то ничѣмъ не дотазапное значеніе, а васъ за снисходительнаго сотроте. Нѣтъ, оставимъ лучше это дѣло. То время было то, что нѣмцы называютъ Sturm und Drang Periode. Все въ насъ кипѣло и все требовало отвѣта и разъясненія; всякій клалъ свою посильную лепту въ общую сокровищницу, которою была критика Бълинскаго. Одинъ меньше, другой больше, но какъ теперь разбереть?» 1).

Въ 1857 году действительно трудно было разобраться. Но двадцать летъ спустя появилась въ книге Пыпана о Велинскомъ съ техъ поръ ставшая знаменитою переписка Велинскаго съ Боткинымъ и изъ нея вполит ясло, что если «одинъ меньше» изъ членовъ кружка, а другой «больше» вліялъ на велякаго выразителя ум твеннаго возбужденія 40-хъ годовъ, то именно «больше» вліяль Боткинь. И если признать Велинскаго важивишимь явленіемъ энохи, то и Василій Боткинъ, мало кому извістный и викъмъ не читаемый, получаетъ крупное историческое зваченіе. Оно зиждется на томъ, что Боткинъ былъ главнымъ посредникомъ между Вълнаскимъ и западно-европенскимъ искусствомъ. Тонкое эстетическое чутье было, конечно, прирожденное у Бълинскаго, но въ постоянномъ общени съ Боткинымъ оно окръпло и возмужало. Ни съ къмъ Бълинскій не обмънивался такъ охотно мыслями по чисто-литературнымъ вопросамъ, какъ съ Боткинымъ. Въ личныхъ отношеніяхъ, никого Вілинскій не любиль съ такою ніжностью, какъ Боткипа, который быль для него живымъ воплощениемъ нъ-

^{&#}x27;) Это замвчательное мѣсто, важное какъ для характеристики Боткина, такъ и для характеристики Бѣлицекаго, совевмъ не обращало на себя вниманія изслѣдователей эпохи 40-хъ годовъ. Оно находится въ «Сборникѣ общ. вспомощ. нужд. литер. и ученымъ, XXV лѣтъ». (Сиб. 1884 г.) стр. 500.

мецкой поэзіи, нѣмецкой музыки и всѣхъ вообще чисто-эстетическихъ

Въ своей личной литературной карьеръ Боткинъ не процеблъ. Это очень поучительно и вполнт соотвттствуетъ основной чертт новъйшей русской литературы, указаніемъ на которую, подобно катоновскому caeterum censeo, изследователь долженъ заканчивать всякую характеристику литературнаго двятеля последнихъ 50-60 лфтъ: для вліянія на русскаго читателя пужна прежде всего глубина убъжденія, нужно явиться представителемь опредёленнаго міросозерцанія. У Боткина были общирныя познавія, недюжинный умъ, тонкій вкусъ, не было у него недостатка и во внёшнихъ литературныхъ достоинствахъ. Но у него совсемъ не было желанія схватиться на жизнь и на сперть за свои убъжденія, и во всемъ его духовномъ существъ царилъ холодъ. Вотъ почему Воткинъ самъ по себт немногаго стоитъ и имтетъ значение только какъ источникъ духовнаго в збужденія Велинскаго. Приставьте къ скромному источнику свъта большой блестящій рефлекторъ, и оба вивств они будуть бросать яркій свыть на далекое разстояніе. Умеръ Вфлинскій — и Боткинь исчезаеть изъ исторін русской литературы. Исчезаеть даже его личная привлекательность, столь неотразимо дёйствовавшая на Бълинскаго, который быль влюбленъ въ него, какъ въ женщину. Всегла сидввий въ Боткинв эпикурензиъ превращается въ 50-хъ и 60-хъ годахъ въ накую-то отвратительную холю тела и обжорство. Еще более нечальный оборотъ приняла духовная жизнь Боткина. Эстетизнъ въ немъ тоже превратился въ какую-то литературную гастрономію и общественное возбужденіе, наступившее посл'я крымской войны, пе только не вызывало никакого сочувствія въ недавнемъ поклонник'в французскихъ утопистовъ, а страшно его раздражало. Онъ не могъ простить 60-мъ годамъ ихъ пренебреженія къ искусству и въ своемъ брюзжаній дошель до того, что въ разговорахь съ знакомыми цензорами натравливалъ ихъ на репрессивныя мёры. Такъ печально кончилъ (въ 1869 г.) другъ Бълинскаго, который въ ужаст перевернулся бы въ гробу, если бы до него дошло то письмо къ Фету, гдъ Боткинь съ полною атрофіей нравственнаго чувства повъствуеть о

своихъ «указаніяхъ» цензорамъ. Боткину было дано большое умственное богатство, во не было дано соотв'єтственнаго богатства душевнаго.

Перейдемъ теперь ко второму университетскому кружку. Онъ былъ менѣе многочисленъ, чѣмъ кружокъ Станкевича, и собственно это даже не былъ кружокъ. Просто два студента физико-математическаго факультета Александръ Герценъ и Николай Огаревъ, къ тому-же дальніе родственники, поступивъ въ упиверситетъ, продолжали вести пламенную, романтическую дружбу, возникшую между ними, когда они еще были мальчиками. Изъ другихъ студентовъ чаще другихъ приходили къ друзьямъ и были душевно съ ними близки: Сатиснъ, впослъдствіи переводчикъ Шекспира, Вадиль Пассенъ —рано умершій этнографъ, и Кетисръ—медикъ по спеціальности, но страстный любитель литературы и тоже переводчикъ Шекспира, весельчакъ и остроумный maîre de plaisir московской литературной молодежи.

Вліяніе пебольшого кружка Герцена и Огарева на литературу въ началѣ эпохи Бѣлинскаго было совершенно незначительно, но по чисто-внѣшнимъ причинамъ. Въ 1834 году Герценъ, вмѣстѣ съ Огаревымъ и Сатинымъ, были привлечены къ раздутой исторіи объ университетскихъ кандидатахъ, устроившихъ по случаю окончанія курса пирушку, во время которой пѣли антиправительственныя пѣсни. Ни Герценъ, ни Огаревъ участія въ пирушкѣ не принимали, и суровое наказаніе, постигшее дѣйствительнымъ участниковъ, ихъ миновало. Но захваченныя при обыскѣ у нихъ бумаги показывали, что друзья очень интересуются французскими соціальными системами и особенно сенъ-симонизмомъ,—и этого было достаточно, чтобы признать ихъ виновными. Герценъ былъ сосланъ въ Пермь, Сатинъ въ Симбирскъ, Огаревъ, изъ впиманія къ его отцу, котораго въ то время разбилъ апоплексическій ударъ,—въ Пензу.

Только въ 1839 году Герценъ вернулся въ Москву и получилъ возможность принять болже или менже дъятельное участие въ литературъ. Его обширныя познанія, огромный умъ й замъчательный, искрящійся блестками тончайшаго остроумія, литературный талантъ не замедлили обратить на него вниманіе. Тъмъ не менже, ознаком-

леніе съ Герценомъ только эпизодически должно входить въ исторію латературы сороковыхъ годовъ. Герценъ входитъ, главнымъ образомъ, въ исторію литературы слёдующей эпохи, конца 50-хъ годовъ, когда онъ достигъ безиримърнаго вліянія и значенія, когда къ словамъ его съ одинаковымъ волненіемъ и съ одинаковою симпатіею прислушивались во всёхъ слояхъ русскаго общества, не исключая дворцовъ и министерскихъ совътовъ.

Въ 40-хъ годахъ дъятельность Герцена, чисавшаго подъ псевдонимомъ Искандера, была тоже очень замътна, но, все-таки, не такъ, какъ впоследствии. Она выразилась въ ряде блестяще-написанныхъ статей, протестовавшихъ противъ той науки, которая замыкается въ себъ и создаетъ только цеховыхъ ученыхъ. Наука должна воздъйствовать на жизнь, должна идли навстречу разрешению назревающихъ вопросовъ современности. Кромф статей философско-критическаго характера, Герценъ въ 40-хъ годахъ написалъ ийсколько замъчательныхъ беллетристическихъ произведеній, иногда недостаточно художественно-законченныхъ, но всегда вдумчивыхъ и проникнутыхъ серьезнымъ убъжденіемъ. Особенное впечатлічіе произвела небольшая повъсть «Сорока-воровка», съ ея косвеннымъ осужденіемъ крипостного права, и романъ «Кто виноватъ». Романъ ставиль, котя и не разрышаль ни въ ту, ни въ другую сторону вопросъ о семейныхъ отношеніяхъ и правахъ сердца свободно любать. Въ лицъ же героя ремана-Бельтова, было очерчено, кромъ того, трагическое ноложение русскаго человъка съ высшими потребностями, не имфющаго возможности приложить свои силы къ общественной деятельности и принужденнаго всю жизнь скигаться безъ определенной цели.

Во внутренней жизни русской передовой интеллигенціи 40-хъ годовъ Герценъ, еще не обрисовавшійся во всю свою величнну для читающей публики, сразу пріобрѣлъ не меньше значенія, чѣмъ впослѣдствін. Болѣе всѣхъ овъ содѣйствовалъ огрѣшенію отъ узкаго пониманія гегельянства, какъ апонеоза всякаго существующаго явленія. Когда въ 1839 году Герценъ вернулся въ Москву, онъ засталъ теорію преклоненія предъ разумностью всякой «дѣйствительности» во всемъ ея бѣснованіи и ужаснулся. Чтобы бороться съ привержен-

цами этой теорін ихъ же собственнымъ оружіемъ, онъ засѣлъ за Гегеля и со свойственнымъ ему блескомъ способностей быстро освоился какъ съ самымъ Гегелемъ, такъ и съ его школою. Школа Гегеля тогда уже начинала распадаться на консервативное, правое гегельянство и гегельянство лювое, давшее вскорт дъятелей въ родъ Карла Маркса. Герценъ явился провозвъстникомъ этого лъваго гегельянства и пришелъ къ выводамъ діаметрально-противоположнымъ тъмъ, которые завладълн умомъ и сердцемъ членовъ кружка Станкевича. Произошла жестокая схватка съ Бёлинскимъ и молодые люди, горячо полюбившіе другъ друга, разошлись. Бълинскій, глубоко потрясенный, ужхаль въ Петербургъ. Но прошель годъ съ небольшимъ, сомития, брошенныя Герценомъ, взошли въ чуткомъ сердцъ Вѣлинскаго, онъ трезво взглянулъ на неприглядную «дѣйствительность», и когда въ 1841 году друзья свиделись, между вими уже не было разногласій и они пошли, рука объ руку, по пути выработки новой общественной программы.

Другъ Герцена-Огаревъ всецило напоминаетъ Станкевича. Человфкъ скромный, хотя и полный вфры въ великое призваніе, тихій и застѣнчивый, Огаревъ неотразимо д'ыствовалъ на всякаго, кто быль чутокъ къ душевной красотф. Вокругъ него всегда создавался особый «Огаревскій культь», въ его присутствіи люди, какъ въ общении со Станкевичемъ, становились лучше и чище. Но не только высокимъ строемъ своего вравственнаго существа выдёлялся Огаревъ. Человъкъ обширнаго, энпиклопедическаго образованія, онъ оказывалъ сильное вліяніе на своихъ друзей и уиственнымъ богатствомъ своимъ. Мало продуктивный въ нечати, онъ благотворно вліяль личной бестрой, дтлясь богатымь запасомь своихь знаній, давая широкія обобщенія, высказывая яркія мысли и притомъ часто въ очень яркихъ образахъ. Какъ поэтъ онъ въ разсматриваемую эпоху обрисовался вполнё, хотя нёкоторыя изъ лучшихъ произведеній его написаны въ 50-хъ годахъ. Раво опредълились основныя черты почти безпричипно-меланхолической, женственно-мягкой музы Огарева. Его лири, можеть быть, самой нажной во всей русской поэзіи, были совершенно чужды мужественные аккорды. И это находится въ странномъ противорѣчіи съ теоретическими возарѣніями

Огарева, всегда крайними и рёшительными. Поэзія Огарева, всю жизнь составлявшаго предметъ пеусыпнаго вниманія надзирающихъ вёдомствъ и съ конца 50-хъ годовъ ставшаго однимъ изъ главарей русской эмиграціи, поражаетъ почти полнымъ отсутствіемъ элемента протеста. Тихая грусть о прошедшемъ и разбитомъ счастьй, искреннайшее чувство всепрощенія и того, что на жаргоні 40-хъ годовъ называлось «резиньяціей», —вотъ наиболіве характерныя черты творчества Огарева. Ръ пензенской ссылкі своей Огаревъ написаль стихотвореніе «Друзьямь», гді затронуто постигшее ихъ несчастіс. Кого бы не озлобила несправедливая кара? На Герцена она такъ и подійствовала, укрівнять въ немъ протестующее настроеніе. У Огарева-же вотъ чёмъ заканчивается картина крушенія лучшихъ надеждъ:

Мы много чувствь, и образовь, и думь Въ душѣ глубоко погребли... И что же— Упрекъ ли небу скажетъ дерзкій умъ? Къ чему упрекъ? Смиренье въ душу вложимъ, И въ ней затворимся безъ желчи, если можемъ.

II.

Мы ознакомились съ тёми двателями разсматриваемаго періода, которые примыкали къ московскимъ студенческимъ кружкамъ. Объ остальныхъ двателяхъ эпохи удобнёе будетъ сказать въ связи съ очеркомъ литературно-общественныхъ партій, образовавшихся въ началѣ 40-хъ гедовъ. Борьба этихъ партій составляетъ главное содержаніе эпохи Бёлинскаго, эпохи теоретической выработки міросозерцанія по преимуществу, такъ какъ чисто-художественныя силы новаго поколёнія проявплись только въ самомъ концё эпохи.

Окончательное выджленіе лятературно-общественных партій произошло около 1842—З года. Я подчеркиваю слово общественных, потому что это было явленіе совсжив новое. Еще какихвнибудь пять, десять лёть тому назадъ литература наша, какъ явленіе общественное, представляла собою одну почти однородную массу и совсжив не знала отличій, основанных ва разницт общественнаго міросозерцанія. Въ журналистикт были личныя дрязги, господство-

вали личныя симпатіи и антипатіи, шла борьба чисто-художественных стилей, какъ напр., та борьба, которую засталь Бёлинскій—между классицизмомъ и романтизмомъ. Разницы же общественно-политическихъ идеаловъ почти пе было. Этимъ, между прочимъ, слёдуетъ объяснить, почему преклоненіе предъ «дойствительностью» могло съ такою силою захватить «неистовую», по существу, душу Бёлинскаго.

Но въ сороковыхъ годахъ литературу и журналистику уже никакъ нельзя было назвать однородною массою. Образовались три рѣзко намѣченныя партіп, нерѣдко сходившіяся въ чисто-литературномъ отношенін (славянофилы и западники, напримѣръ, одинаково восторженно отпосились къ Гегелю), но совершенно расходившіяся въ указаніи тѣхъ путей, но которымъ каждая изъ партій хотѣла направить исторію русской гражданственности. Двѣ изъ этихъ партій еще въ сороковыхъ годахъ получили названія славянофильства и западничества, третья не имѣла опредѣленнаго названія въ 40-хъ годахъ, не смотря на полную опредѣленность своей духовной физіономіи, и только позднѣе, въ 70-хъ годахъ, А. Н. Пыпинъ весьма удачно назвалъ ее партіей оффиціальной народностии.

Партія оффиціальной народности состояла изъ печальной памяти тріумвирата — Булгарина, Греча и Сепковскаго въ Петербургѣ и дуумвирата—Погодина и Шевырева въ Москвѣ. Первые три имѣли въ своемъ распоряженія пресловутую газсту «Сѣверную Пчелу» и «Библіотеку для Чтенія», послѣдніе издавали «Москви гянинъ». Имѣя очень много общаго между собою, московскіе представители теоріи оффиціальной народности въ правственномъ отношеніи стояли, все-таки, гораздо выше своихъ петербургскихъ братьевъ по духу. Въ нетербургскомъ тріумвиратѣ тоже нужно отдѣлить Сенковскаго отъ Греча, а Греча отъ Булгарина.

Вумаринъ представлялъ собою пѣчго крайне-антипатичное со встъхъ точекъ зрѣпія. Онъ громко кричалъ о своей преданности тріацѣ: самодержавіе, православіе и пародъ, но эта мнимая преданность по существу была только угодничествомъ самаго низменнаго свойства и вызывала брезгливое чувство даже въ тѣхъ сферахъ, предъ которыми пресмыкался Булгаринъ. Можно ли было вѣрить въ

искреннюю преданность православію этого педавняго католика, можно ли было допустить искреннее увлечение идеею русской пародности въ полякъ, сражавшемся подъ знаменами Наполеона? Наконецъ, «двойной присягою играя», Булгаринъ преклопялся и предъ самодержавіемъ искочительно какъ предъ власть инущею силою. До декабрыской катастрофы онъ былъ въ тёсной дружбё съ кружкомъ Рылфева, и если даже инчего не зналъ о заговорф, то, все-таки, внолив раздвляль конституціонныя иден декабристовъ. Теперь же онъ выражалъ свою преданность нев'вроятно холонский языкомъ. который своимъ азіятскимъ пресмыкательствомъ, напоминающимъ какую-нибудь Бухару или Коканъ, глубоко возмущалъ решительно всёхъ и всего болёе людей, искренно преданныхъ идеё монархической власти. Императоръ Николай, который не любилъ грубой лести: быль весьма невысокаго мявнія о редактор'в «Свверной Ичелы». Въ области чисто-литературной Булгаринъ былъ представителемъ самаго грубаго вкуса. Этотъ позорчый руководитель значительной части такъ называемой средней публики 40-хъ годовъ самымъ искреннимъ образомъ приравнивалъ Гоголя Поль-де-Коку. И въ довершение Булгаринъ былъ мелко-продаженъ, писалъ грубыя рекламы гостиницамъ, гдв его даромъ кормили, и купцамъ, приносившимъ его домашнимъ но куску матеріи. Для характеристики публики, довольствовавшейся газетой Вулгарина и изъ нея черпавшей представление о государственной жизни Россіи и Европы, следуеть прибавить, что общій уровень «Стверной Ичелы», помимо пошлости и пресмыкательства. поражаетъ своею мелкотою. Самыя крупныя явленія государственной жизни оставались вит обсуждения единственной ежедневной русской газеты, что, впрочемъ, Булгарину нельзя вманять особенно въ вину. Когда онъ однажды, по поводу одного правительственнаго распоряженія. воспѣлъ ему самый восторженный дифирамбъ, то получилъ за это серьезное внушеніе. «Правительство въ твоихъ похвалахъ не нуждается», сказаль ему начальникь третьяго отдёленія Дубельть, обращавшійся съ главнымъ представителемъ тогдашняго «общественнаго мивнія», какъ теперь не обращаются съ лакеемъ. «Театръ, выставки, гостиный дворъ, толкучка, трактиры, кондитерскія-воть твоя область, а дальше ея не моги ни шагу».

Второй представитель партіи «оффиціальной народности», соиздатель «Сѣверной Пчелы»——Гречъ, былъ и чистоплотнѣе, и образованнѣе Булгарина. Но педантъ по преимуществу, и человѣкъ съ весьма мелкимъ кругозоромъ, совершенно песпособный слѣдить за духомъ времени и застывшій на литературныхъ трэдиціяхъ 20-хъ годовъ, онъ не вносилъ въ газету ничего такого, что бы хоть сколько-нибудь возвышало ея низменный уровень. Поэтому его имя въ исторіи русской литературы не отдѣляется отъ имени Булгарина и оба вмѣстѣ они являются синонимэмъ крайнихъ предѣловъ сервильности и литературной пошлости.

Третій членъ петербургскаго тріумвирата, одно время мечтавшаго монополизировать въсвоихъ рукахъ всю русскую печать, — Сенковскій-Брамбеусь имвав всв данныя для того, чтобы стать первостепеннымъ деятелемъ. Человекъ замечательной и разносторонней учености, писатель безспорнаго таланта и выдающагося остроумія, Сенковскій придаваль интересь каждому изъ тахь разнообразныхъ сюжетовъ, которыхъ онъ касался въ своихъ многочисленныхъ статьяхъ. Но, къ сожалению, онъ быль лишенъ всякаго определеннаго міросозерцанія и всякихъ идеаловъ. Опъ смѣялся ради смѣха. И оттого, въ концъ концовъ, его недюжинное остроуміе было не что иное, какъ кувырканіе, производимое единственно для того, чтобы вызвать рукоплесканія толны. Даже въ серьезныхъ статьяхъ его часто нельзя было отличить, говорить ли онъ серьезво или мистифицируетъ. Объ искренней преданности идеж русской оффиціальной вародности со стороны этого польскаго Мефистофеля смёшно было и говорить. Единственно, что въ немъ было искрепняго, -- это презрѣніе къ русской публикъ и непонимание новаго литературнаго движения. Послъднее находило себъ еще органическую поддержку въ томъ, что Сенковскій, при всей своей разносторонней образованности и талантливости, былъ лишевъ эстетическаго вкуса. Гоголя онъ не понималъ вполет искренно и фольга Кукольника ему не на шутку казалась настоящимъ литературнымъ золотомъ.

Для разсматриваемаго нами періода Сенковскій, впрочемъ, не имъетъ особеннаго значенія. Зпоха блестящаго его успъха—это средина 30-хъ годовъ. Публика, прявыкшая къ тощимъ журналамъ

того времени, съ одной стороны была ошеломлена прекрасно-обставленнымъ литературнымъ матеріаломъ толстыхъ книжекъ «Библіотеки для Чтенія», а съ другой ей правилось язвительное остроуміе барона Брамбеуса. Но усивхъ былъ непродолжителенъ и въ конив 30-хъ годовъ толщина книжекъ «Библіотеки для Чтенія» никого уже не ошеломляла, потому что и другіе журналы послъдовали прямвру «Библіотеки», а пряность лишеннаго внутренняго содержанія хихиканія Брамбеуса прівлась.

Московскіе представители теорін оффиціальной народностя— Погодинъ и Шевыревъ, какъ явление правственнаго порядка, стояли гораздо выше своихъ петербургскихъ соратниковъ. Погодино представляль собою удивительную смёсь черть крайне несимпатичныхъ съ дътскою простотою и добродушіемъ. Человъкъ болье чъмъ себъ на умѣ, сумѣвшій продать за 150,000 р. свое знаменитое «древлехранилище», составившееся изъ добровольныхъ исжертвованій, онъ виветв съ твиъ былъ часто очень непрактиченъ. Самъ эксилоатируя своихъ сотрудниковъ и даже слушателей- студентовъ, онъ, вмаств съ темъ, легко давалъ и себя эксплоатировать. По политическимъ воззржніямъ своимъ это быль опортюнисть по преимуществу. Онъ преклонялся передъ всякою силою. Такъ, лишь только вфянія изм'ьнились съ наступленіемъ новаго царствовавія, и Погодинъ заговориль о необходимости «обновленія» того самаго порядка вещей, предъ которымъ столь недавно преклонялся такъ безусловно. До Севастополя Погодинъ былъ типичный представитель увъренности, что ыы Европу шапками закидаемъ, после Севастополя все это какъ рукой сняло и въ извъствыхъ застольныхъ синчахъ 1857 года голосъ Погодина звучалъ въ унисонъ съ общимъ самообличительнымъ тономъ. Отправившись за границу, Иогодинъ даже постарался имъть свидание съ Герценомъ, съ которымъ онъ, конечно, спорилъ объ очень многомъ, но который, все-таки, въ эпоху своего огромнаго вліянія инстинктивно притягиваль къ себф его искренно-угодливую натуру. А какъ только кончился медовый мъсяцъ россійскаго прогресса, сошло и съ Погодина необычное настроеніе, и сталь онъ снова представителемъ «патріотизма» охотнорядскаго пошиба. Въ разсматриваемую эпоху «направленіе» Погодина сводилось къ тому.

что онъ славословилъ безъ всякихъ оговорокъ. Личный другъ славянофиловъ, Погодинъ, однако, крайне враждебно относился къ тъмъ сторонамъ славинофильского ученія, гдф славословіе переходило въ демократизмъ. Апологія общиннаго и соборнаго начала, вражда къ чиновинчеству-вся эта оппозиціонная часть славянофильскаго ученія находила въ Погодин' суроваго порицателя. Онъ желаль быть только пріятнымъ. Но, повторяю, въ этомъ желаніи было много чисто-инстинктивнаго, рождавшагося въ душф Погодина почти непроизвольно. Въ квасномъ патріотизмѣ Погодина, въ его прославленіи всего «русскаго», начиная съ русскихъ формъ государственной жизни и кончая тульскими самоварами и московскими калачами, было, помимо желанія угодить, и много искренности, искренности, правда, очень наивной и смёшноватой, но все-таки неподдёльной. И вотъ почему у Бълинскаго и его друзей не было даже особенной охоты съ нимъ серьезно спорить. Его больше вышучивали и пародировали.

Шевыревъ быль человъкъ иного душевнаго склада. Во многихъ отношеніяхь онь стояль выше своего соиздателя и товарища по профессурт. На грубымъ карьеристомъ, ни человткомъ себт на умт его нельзя было назвать. Интересы духовные въ немъ преобладали. Образованіе онъ имѣлъ хорошее, спеціальныхъ знаній у пего тоже было много, какъ по исторіи всеобщей, такъ и по исторіи русской литературы и ивкоторыя его работы не утратили своего значенія до сихъ поръ. Какъ профессоръ онъ, во всякомъ случав, будилъ мысль стремленіемъ къ широкимъ обобщеніямъ и желаніемъ создать опредъленное міросозерцаніе. Вотъ почему въ началѣ и срединъ тридцатыхъ годовъ онъ пользовался симпатіями лучшей части студенчества, на-ряду съ Павловымъ п Надеждинымъ, и былъ представителемъ новаго теченія университетскаго преподаванія. Но уже черезъ нѣсколько лётъ вся его деятельность приняла совсёмъ иное направленіе. Педантизмъ взяль верхъ надъ возбужденностью первыхъ лътъ профессорства. И такъ какъ живого пониманія у Шевырева не было, то онъ всегда терялъ чувство мёры, но терялъ его не въ порывъ страстнаго увлеченія, а именно какъ педантъ, потому что искусственно взбадривалъ себя. Въ его хватаніяхъ чрезъ край никогда не

чувствовалось глубокой вёры, а всегда явственно проступала напыщенная надутость. Это онъ, главнымъ образомъ, довель теорію «смиренія», какъ главной исторической черты русскаго народа, до тёхъ предёловъ, гдё она является полнымъ искаженіемъ реальныхъ очертаній действительной исторической жизни. Это опъ главнымъ образомъ, а не славянофилы, какъ обыкновенно думають, провозглашалъ, что «Западъ стилъ». Не было у него также непосредственнаго живого пониманія искусства и, за исключеніемъ обусловленнаго личною пріязнью «гоголефильства», вст его литературныя сужденія не имтють никакого значенія. Воображая себя глубокимь цілителемь всёхь родовъ искусства и литературы, Шевыревъ на самомъ деле былъ совершенно лишенъ эстетическаго вкуса и наговорилъ много такого, что прямо стало образчикомъ педантической напыщенности и безвкусицы. Добродушія, отчасти примпрявшаго съ Погодинымъ, у него не было и тени. Шевыревъ быль злой самолюбецъ, никогда не прощавшій, если его задъвали, всегда вносившій во всякую полемику самое тяжелое раздражение. Отъ него нельзя было отдилаться однимъ вышучиваніемъ и пародированіемъ, какъ это дёлалось по отношенію къ Погодину, надо было вести съ нимъ споръ серьезно. И такъ какъ онъ, защищая свое міросозерцаніе, вичёмъ не былъ стёсненъ и имклъ полную возможность выдвинуть весь свой запасъ аргументовъ и нападокъ, между тъмъ какъ противники выпуждены были еле-еле намечать свои доводы въ самыхъ общихъ и неясныхъ очертаніяхъ, то и они, въ свою очередь, не могли не быть раздражены. Все это сдёлало Шевырева предметомъ страстныхъ нападокъ Бёлинскаго п его друзей. Изъ всёхъ представителей теоріи «оффиціальной народности» только съ нимъ однимъ и стоило спорить: Булгаринъ былъ слишкомъ омерзителенъ, Гречъ слишкомъ мелокъ, Сенковскій выдохся, Погодинъ былъ забавенъ по-пренмуществу и только борьба съ Шевыревымъ доставляла наслаждение побъды.

Вторая литературно-общественная партія, выдѣлившаяся въ 40-хъ годахъ и унаслѣдовавшая насмѣшливую кличку «славянофиловъ» (нѣ-когда дачную карамзинистами защитнику «стараго слога» Шишкову), выставила на своемъ знамени ту же формулу, во имя которой дѣйствовала партія «оффиціальной народности»: самодержавіе, право-

славие и народъ. Но въ пониманіи элементовъ этой формулы славяпофилы настолько разошлись не только съ Булгаринымъ и Гречемъ,
но и съ Шевыревымъ и Погодинымъ, что смѣшивать обѣ партіи воедино прямо оскорбательно для идеально-высокаго настроенія, изъ
котораго вытекло славянофильство. То, что у Булгарина и Греча
было результатомъ грубаго пресмыкательства и угодничества, у Погодина опортюнизмомъ, у Шевырева падутой напыщенностью, у славяпофиловъ было проявленіемъ глубокаго одушевленія идеею. Всѣ
люди богатые, песлужащіе, вполнѣ независимые, они не руководились никаквии практяческими разсчетами и дѣйствовали во имя
искрепняго убъждекія, что въ исполненін ихъ программы залогъ величайшаго преуспѣянія Россіи.

По личнымъ, вообще, качествамъ своимъ, славянофилы были люди столь же высекаго душевнаго строя, какъ и ихъ противники. Еще о Хомяновъ можно было бы спорить. Въ искрепность этого падкаго на эффекты изутомимаго спорщика и человѣка, любившаго щегольнуть блескомъ своего ума, не веф върили. Но братья Киртьевскіе, Самаринъ, а въ особенности «Бълинскій славянофильства»—Конспинитилъ Лисиковъ—все это были истинные рыцари духа, благородифиніе идеалисты, въ уваженіи къ которымъ сходились люди всъхъ направленій.

Преданлость славянофиловъ пдев самодержавія вытекала изъ убъжделія, что русскій народа по природв своей чуждъ «политическаго элемента», что онъ «отдвлиль государство отъ себя и государствовать не хочеть». И только потому, что русскій народъ «не меслиета» государствовать, онъ предоставляеть правительству неограниченную власть государственную».

Въ этой теоріи прансхожденія русскаго государства, являющейся отголоскомъ старон, созданной Гуго Гроціємъ, теоріи договорнаго возникновенія государства, первостепенное значеніе им'єстъ то, что русскій народь не нотому отказался отъ «государствованія», что не можеть быть носителемъ власти, а только потому, что онъ не жочеть. Тутъ, сл'ядовательно, существенный шее отличіе отъ обычной теоріи спасительности монархіи, зиждущейся на необходимости сильной власти, какъ единственнаго средства обуздать пагубное свое-

воліе. Нѣть, славянофилы были необыкновенно высокаго мивнія о нравственных качествахъ русскаго народа и всего менѣе думали, что онъ нуждается въ сильной власти и обузданіи. Славянофилы мистически поклонялись народу и видѣли въ немъ не звѣря, а богоносца.

Ради чего-же русскій народъ совершенно отстраниль отъ себя дъла міра сего и не хочетъ государствовать? Что взяль опъ себъвъ замѣнъ?

«Въ замънъ того, русский народъ предоставляеть себъ нравственную свободу, свободу жизни и духа».

На этихъ началахъ и зиждется единственное истинно-русское пониманіе основъ нашего государственнаго уклада:

«Правительству—неограниченная власть государственная, политическая; народу—полная свобода правственная, свобода жизни и духа—мысли и слова».

Какъ сейчасъ было сказано, русскій пародъ, по славянофпльскому ученію, только потому отказался госуларствовать, что не хочеть. Но это не значитъ, что онъ не интересуется ходомъ государственной жизни. Напротивъ того, онъ вначательно за нею слъдитъ и имъетъ о ней сужденіе, которое правительствомъ непромѣню должно быть выслушано. «Самостоятельно можетъ и долженъ предлагать безвластный народъ полновластному правительству—свое мнъніе (слъдовательно, силу чисто-правственную), мнѣніе, которое правительство вольно принять и не принять».

Но «какимъ образомъ можетъ правительство вызвать это метние?» Отвътъ даетъ русская исторія:

«Древняя Русь указываеть намь и на дёло самое, и на способъ. Цари наши вызывали, въ важныхъ случаяхъ, общественное мнёніе всей Россіи и созывали для того Земскіе Соборы, на которыхъ были выборные отъ всёхъ сословій и со всёхъ концовъ Россіи».

Земскіе Соборы, однако, не то, что западно-европейскіе парламенты:

«Земскій соборъ имѣетъ значеніе только мнланія, которое государь можетъ принять и не принять». Однимъ изъ главивйшихъ органовъ выраженія мивнія народа славянофилы считали свободу слова, о которой никто въ русской литературв не говориль съ такимъ чисто-экстатическимъ воодушевленісмъ, какъ они. Для партіи западнически-передовой убѣжденіе въ необходимости свободы слова было понятіемъ настолько азбучнымъ, что пе являлось даже и воодушевленія для доказательства такого трюизма. Славянофилы же, особенно побуждаемые еще и тѣмъ, что въ глазахъ многихъ они сливались въ одно представленіе съ Булгаринымъ и Гречемъ, всѣми силами старались очиститься отъ такого позорнаго смѣшенія и это придавало имъ энтузіазмъ въ проповѣди самыхъ элементарныхъ принциповъ гражданской жизни. Самымъ пламеннымъ въ русской поэзіи прославленіемъ свободы печати, хотя и не въ блещущей художественными достоинствами формѣ, является стихогвореніе Константина Аксакова "Свободное Слово":

Ты чудо изъ божьихъ чудесъ,
Ты мысли свётильникъ и пламя,
Ты лучъ намъ на землю съ небесъ,
Ты намъ человъчества знамя.
Ты гонишь невъжества ложь,
Ты въчною жизнію ново,
Ты къ свёту, ты къ правдѣ велешь,—
Свободное слово.

Лишь духу власть духа дана,—
Въ животной же силѣ нѣтъ прока:
Для истины—гибель она,
Спасенье—для лжи и порока;
Враждуетъ ли съ ложью—равно
Живитъ его жизнію новой...
Неправдѣ—опасно одно
Своболное слово.

Отрады властямъ никогда
Не зижди на рабствъ народа!
Гдъ рабство—тамъ бунтъ и бъда,
Защита отъ бунта—свобода.
Рабъ въ бунтъ опаснъй звърей,
На ножъ онъ мъняетъ оковы...
Оружье свободныхъ людей—
Свободное слово.

О слово, даръ Бога святой!

Кто слово, даръ Божескій, свяжеть,
Тоть путь человѣку иной,—

Путь рабства преступный укажеть.
На козни, на вредную рѣчь
Въ тебѣ жъ и цѣленье готово,
О, духа единственный мечъ,
Свободное слово!

Младшій братъ Константина Аксакова — Иванъ впоследствін явился не только пламеннымъ теоретическимъ провозвестникомъ принципа свободы печати, во и борцомъ за практическое примфненіе его къ действительности. Восторженно преданный существующему порядку въ его основных то чертахъ, но преданный "безъ лести", овъ, во имя свободы мнинія и слова, не стиснялся съ полною правдивостью высказываться, когда действія администраціи его не удовлетворяли, и это привело къ тому, что онъ изведалъ всю тяжесть обычныхъ и экстраординарныхъ цензурныхъ мфръ. Вообще изъ-за непоколебимаго желанія говорить всегда то, что они думали, славянофилы длинный рядъ лётъ не могли им вть своего собжурнала, что не имъ. однако, помѣшать ственнаго могло выразить всю полноту своихъ чувствъ въ питимныхъ собраніяхъ своего кружка, въ дружеской перепискъ и въ червовыхъ тетрадяхъ. Приведенное сейчасъ стихотворение Константина Аксакова нашлось только въ оставшихся послѣ его смерти бумагахъ и напечатано только въ 1880 г., четверть века послё того, какъ было написано.

Не для печати также назначаль другой главарь славянофильства Хомяковъ свое стихотвореніе "Россін", чрезвычайно важное для характеристики славянофильскаго ученія, въ одно и то же время и полнаго величайшей преданности основнымъ элементамъ русской государственной жизни, и открывающаго широкое поле дѣйствій критикѣ ея недостатковъ. Стихотвореніе написано въ 1854 г., когда только что начиналась Севастопольская кампанія, когда еще всѣ были убѣждены, что мы Европу шапками закидаемъ. И вотъ въ этотъ моментъ полнаго разгула шовинизма и, самъ призывая "страву родную" "встать за братьевъ"—славянъ и идти

Чрезъ волны гивьвито Дуная— Туда, гдв, землю огибая, Шумять струн Эгейскихъ водъ,

поэтъ ин на одну минуту не забываетъ горькой правды и, рисуя картину внутреннихъ непорядковъ нашихъ съ рѣзкостью библейскаго пророка, говоритъ Россіи:

Но помни: быть орудьемъ Бога Земнымъ созданьямъ тяжело. Своихъ рабовъ онъ судитъ строго,— А на тебя, увы, какъ много Грѣховъ ужасныхъ налегло! Въ судахъ черна неправдой черной И игомъ рабства клеймена; Безбожной лести, лжи притворной, И лѣни мертвой и позорной И всякой мерзости полна!

Послѣ сказаннаго о глубокой преданности славянофиловъ идеѣ полной свободы мысли и слова, само собою ясно, какъ они должны были понимать второй членъ символа своей въры: православіе. Славянофилы были восторженные апологеты христіанства въ томъ видь, въ какомъ оно кристаллизовалось въ восточномъ православіи первыхъ вёковъ. Но и въ эту восторженную любовь, свободно создавшуюся въ ихъ умахъ и сердцахъ не потому, что православіе было господствующею формою религін, а потому, что они виділи въ немъ воплощение лучинкъ идеаловъ человъчества, славянофилы вносили такую же свободу духа, какъ в въ политическую часть своей граммы. Ихъ девизомъ было православіе съ полнымъ господствомъ соборнаго начала, съ широкимъ участіемъ наствы въ жизни церкви, съ без условною терпимостью по отношению къ инославнымъ, съ полнымъ устраненіемъ принужденія со стороны світской власти и, наконецъ, съ нолною свободою изследованія. Изъ-за последняго славянофилы свои богословскіе трактаты вынуждены были печатать за границею.

Третій членъ общаго у славянофиловъ съ партіей "офиціальной народности" символа вѣры—принципъ народности въ исторіи славянофильскаго ученія занимаєть особое мѣсто, потому что изъ всѣхъ трехъ основъ славянофильскаго міровоззрѣнія только одинъ этотъ

пунктъ, по условіямъ времени, и могъ быть предметомъ сколько-инбудь детальнаго разсмотранія. Такое исключительное вниманіе вне сло столько полемическаго задора и партійныхъ преувеличеній, что достигнуть вполит точной формулировки возграний славянофиловъ на принцивъ нагодности чрезвычайно трудно. Западники неизменно упрекали славянофиловъ въ томъ, что они принципъ народности, самъ по себѣ вполиъ естественный и законный, превратила въ принципъ національной всключительности. Славянофилы горячо противъ этого протестовали и говорили о клеветъ, а Иванъ Аксаковъ даже о невъжествъ и полномъ незнакомствъ прогивниковъ съ сушностью ученія. И дійствительно, въ славянофильской литературів можно какъ будто найти не одно опровержение того, что партія была проникнута національною исключительностью. Не Хомяковъ ли говорилъ о Западъ, какъ о "стравъ чудесъ", не славянофилы ли придавали такое огромное значение христіанству, началу, во всякомъ случав, иноземному, и не они-ли, наконецъ, всегда взывали къ "обще-человъческимъ" началамъ, какъ такимъ, которыя должны лечь въ основу русской гражданственности? Но въ томъ-то и дъло. что въ понимание этихъ общечеловъческихъ началъ и вносили славянофилы крайнюю исключительность, утверждая, что "піръ не видаль еще того общечеловвческого, какое явить русская великая славянская, и именно русская природа". Не отрицая, конечно, пноземнаго происхожденія христіанства, славянофилы, устами напболже горячаго изъ своихъ провозвъстниковъ-Константина Аксакова прямо утверждали, что "исторія русскаго народа есть соинственния во всемъ мірѣ исторія народа христіанскаго не только по исповьданію, но и по жизни своей, по крайней мфрф, по стремленію своей жизни".

Дальше, конечно, трудно идти въ исключительности, хотя она и вытекала изъ уваженія къ общечеловѣческому.

Какъ бы то ни было, однако, даже въ этихъ своихъ проявлепіяхъ славянофильская исключительность не имѣла ничего общаго съ грубымъ и эгоистичнымъ "патріогизмомъ" не только Булгарина и Греча, но и Погодина и Шевырева, видѣвшихъ величіе Россіи только во внѣшнемъ блескѣ и могуществѣ. Славянофиламъ русскія начала были дороги не телько потому, что они свои, родныя, а потому, что они вполнё искренно казались имъ лучшими въ мірѣ, и въ торжествѣ русскихъ "особенностей" они видѣли торжество общечеловѣческихъ идеаловъ. Нежеланіе мѣшаться въ дѣла міра сего, чтобы не отвлекаться отъ духовнаго совершенствованія, и въ связи съ этимъ общиное и артельное начало въ сферѣ экономическихъ отношеній—вотъ тѣ "особенности", на основѣ которыхъ славянофилы мечтали создать русскую "самобытность". Такая "самобытность", по убѣжденію славянофиловъ, вполнѣ отвѣчаетъ идеаламъ русскаго нагрода въ буквальномъ смыслѣ слова, т. е. народа не въ смыслѣ націи, а понямая подъ народомъ простого, сѣраго мужика.

Я не сомниваюсь въ томъ, что у всякаго, кто ознакомится съ славянофильствомъ по сейчасъ данному очерку его, неизбъжно зародится вопросъ: почему же это міровоззрініе, въ большинстві существенныйшихы частей своихы столь приближавшееся кы лучшимы и важиващимъ пунктамъ міросозерцанія западниковъ, міровоззрвніе, истинно демократическое и проникнутое действительнымъ, непритворнымъ желаніемъ поставить во главѣ всѣхъ государственныхъ интересовъ интересы народа, почему оно вызывало со стороны западниковъ столько ожесточенія? Можно было спорать, можно было упрекать въ наивности, въ идеализаціи многихъ факторовъ русской исторической жизви, самихъ по себъ весьма грубыхъ, но почему надо было вести этотъ споръ съ такимъ ожесточениемъ? Вспомнимъ глубоковърное замъчание Герцена: «У нихъ (славянофиловъ) и у насъ (западниковъ) запало съ раннихъ лътъ одно сильное, безотчетное, физіологическое, страстное чувство, безграничной, охватывающей все существование любвикъ русскому народу, русскому быту, къ русскому складу ума. Мы, какъ Янусъ, смотръли въ разныя стороны, въ то время, какъ сердце билось одно». Вспомнимъ, затёмъ, эпоху великихъ реформъ, когда славянофилы такъ прекрасно себя вели, энергически защищая общинное землевладаніе, отстаивая крестьянскую реформу въ ванболте ея широкихъ предположеніяхъ и столь же горячо поддерживая всё остальныя начинанія новой эпохи: гласный судъ, самоуправленіе, свободу печати и т. д.

Отвътъ надо искать исключительно въ тяжелыхъ условіяхъ вре-

мени, благодаря которому лучшія стороны славянофильскаго ученія не могли получить въ 40-хъ годахъ яркаго и яснаго литературнаго выраженія. Тотъ очеркъ славянофильства, который сділанъ выше, данъ здёсь въ исторической перспективю, т. е. при возможности пользоваться фактами и документами разныхъ датъ и разныхъ годовъ опубликованія. Такъ, государственная часть программы славянофильства очерчена выше словани той записки, которую Константинъ Аксаковъ подалъ Императору Александру II въ 1856 г. Въ этой запискъ не было ипчего новаго по существу, она была только повтореніемъ того, что дебатировалось еще въ самомъ начал 40-хъ годовъ на постоянныхъ сходбищахъ московской пителлигенціи, на твув знаменитыхъ «всенощныхъ бдёніяхъ», когда еще «славяне» и «западные» не разошлись окончательно и въ личныхъ бесваахъ старались другь друга убёдить въ правотё своего міровозарёнія. Но въ стройной и определенной форме и съ такимъ подчеркиваниемъ важности проявленія общественной мысли государственная программа славянофильства была изложена только въ заинскъ Аксакова. Будь она извъстна Бълинскому, будь извъстны ему стихи Хомякова, кладущіе такую різкую грань между патріотизмомъ славянофиловь и шовинизмомъ улицы, будь ему извастны восторженные дифирамбы славянофиловъ свободъ слова и знай онъ, накопецъ, о доблестномъ поведени ихъ при похоронахъ дореформенныхъ порядковъ, и онъ, конечно, совствъ иначе повелъ бы себя. Онъ не набрасывался бы на нихъ со всемъ озлоблениемъ человека, которому зажатъ ротъ и который и возражать-то толкомъ ве имфетъ никакой возможности. Лучшія стороны славянофильства развернулись позже Бълинскаго, а при немъ славянофиловъ позорило ихъ нежелание открыто отдълиться отъ уличнаго «патріотизма», нхъ потворство такимъ дикимъ выходкамъ à la Булгаринъ, какую, напримітрь, позволиль себі близкій славянофиламъ поэтъ Языковъ (на сестръ его былъ женатъ Хомяковъ). Въ 1845 г. Языковъ, причисливъ себя и славявофиловъ къ «нашимъ», написалъ извъстное стихотворение «Къ ненашилит», гдв (конечно, безъ упоминанія именъ) называетъ Грановскаго, Герцена, Чаадаева изминиками. ихъ міровоззриніе «ученьемъ школы богомерзкой» и надъется, что скоро «замретъ проклятый вашъ языкъ».

Въ интимныхъ разговорахъ, въ записныхъ тетрадяхъ славянофилы протестовали противъ стиховъ Языкова, и, напримѣръ, Константинъ Аксаковъ въ пеизданномъ стихотвореніи «Къ союзникамъ» съ негодованіемъ отвергалъ помощь такого печальнаго свойства:

Не съединить насъ буква мивиья, Во всемь мы разны межь собой И ваше злобное шипинье Не голосъ сильный и простой... На битвы сыходя святыя, Да будемъ чисты межъ собой!— Вы—прочь, союзники гнилые, А вы, противники, на бой!

Но въ печати эти протесты не появлялись; открыто славянофилы ничъмъ своего негодованія не выражали, а самый фактъ, что Языковъ считалъ себя купво со славянофилами «нашими», что и самъ Аксаковъ долженъ былъ признать его «союзникомъ», показывалъ, что въ общемъ, для обыкновеннаго наблюдателя, а следовательно и читателя, разграничительной черты между славянофилами и партіей офиціальной народности въ 40-хъ гг. провести нельзя было. И вотъ ночему западники, върные правилу «Timeo Danaos jam dona ferentes». не хотъли ничего брать у славянофильства. Иламенный демократъ Вълинскій превебрежительно относился къ народному творчеству только потому, что славянофилы его превозносили. Восторги общиннымъ землевладъніемъ стали спеціальнымъ удъломъ славянофиловъ, хотя, казалось бы, кому какъ не западникамъ 40-хъ гг., съ ихъ безгравичнымъ увлечениемъ соціальными утопіями, следовало бы ухватиться за общинно-артельныя начала русской народной жизни. Больше же всего западники были напуганы требованіями «самобытности» и выискиваніемъ русскихъ народныхъ «особенностей», -флагъ, подъ которымъ такъ легко было провести всю гниль мракобъсія. Должно было пройти 30 льть, пока исчезь страхь, который нагнала партія «оффиціальной народности», говоря отъ имени «народа». Только въ 70-хъ годахъ синтезъ лучшихъ началъ западви-

чества и славянофильства выразился въ нарожденін того безграничнаго вародолюбія, которое въ своемъ мистическомъ, почти религіозномъ преклоненін предъ народомъ не убоялось преклониться и передъ «особенностями» народа, передъ его «устоями». Народничество 70-хъ и начала 80-хъ гг. вскоръ дошло до крайнихъ предъловъ въ идеализаціи народныхъ «устоевъ» (которыми признало только общинно-артельное начало и брожевіе религіозной мысли) и поставило ихъ выше идеаловъ интеллигенціи. Такія крайности не могли долго владъть умами, но свою долю пользы онъ принесли несомновню. Драгодовноващимы результатомы вызваннаго ими возбужденія и изученія народныхъ «устоєвъ» была ув'єренность, что эти устои не находятся ни въ какомъ противоръчіи съ лучшими лозунгами демократизма и европейской культуры. Боязнь «особенностей», страхъ предъ «самобытностью» исчезъ безслёдно, и мы видимъ, что писатели, выступившіе съ протестами противъ крайностей народничества, вмёстё съ тёмъ признали цёлый рядъ «особенностей» русскаго народа, честь перваго выясненія которыхъ безспорно составляеть заслугу славянофильства.

Третья изъ литературно-общественныхъ партій, окончательно выдёлившихся въ 40-хъ годахъ, получила названіе «западничества». Партія приняла эту полемическую кличку безъ оговорокъ и такой, напр., выдающійся представитель ея, какъ Тургеневъ, называлъ себя «неисправимымъ западникомъ». Но именно этотъ-то примъръ, этотъ-то приверженецъ «западничества», въ десять разъ больше всёхъ славянофиловъ, вмёсте взятыхъ, сдёлавшій для созданія симпатій къ русскому быту и природ'в русской, показываеть, что кличка далеко ве выражаеть всёхъ характерныхъ чертъ западническаго міровоззрівнія. Нікоторое время шедшія къ намь изъ Францін въ 40-хъ годахъ иден назывались «филантропическими». Вотъ эта кличка дёйствительно выразила-бы всю полноту направленія западничества, въ которомъ преклоненія предъ Западомъ, какъ таковымъ, никогда не было. Не Западъ самъ по себъ, а Западъ исключительно какъ примъръ практического осуществления лучшихъ началъ вильнаго общественнаго устройства-вотъ что привлекало нашихъ западниковъ. Поскольку же Западъ не осуществлялъ пдеала общественнаго благоустройства, онъ встрѣчалъ въ рядахъ западниковъ нашихъ величайшее осужденіс. На-ряду со всѣми «утопистами» Европы, западники наши подвергали европейскій буржуазный строй рѣзкому осужденію.

Быль въ 40-хъ годахъ и даже вель дружбу съ западническою литературною молодежью одинъ человѣкъ, котораго дѣйствительно можно было назвать западникомъ. — Чаадаевъ. Тому дѣйствительно ничто не нравилось въ Россіи и все нравилось въ Европѣ, даже папство... Но Чаадаевъ и по возрасту, и по общему складу своего міровоззрѣнія, отвюдь не «филантропическаго», былъ очень далекъ отъ западнической молодежи. Они сходились между собою только въ критичено неприглядной русской дѣйствительности того времени. Идеалы же у нихъ были совершенно развые. И только полемическія цѣли могли побудить славянофиловъ связать въ одно Чаадаевское міровоззрѣніе, смотрѣвшее назадъ, въ глубь среднихъ вѣковъ, съ міровоззрѣніемъ кружка Герцена и Бѣлинскаго, жадно смотрѣвшаго впередъ въ понскахъ новыхъ пугей правильнаго развитія жизни человѣчества.

Если говорить о западничествёвь смыслё вліянія западныхь идей, то надо говорить частние-о вліянін именно французских видей. Духовная жизвы передовыхы кружковы 40-хы годовы развивалась подъ рвшающимъ воздвиствіемъ французскаго общественнаго движенія, предшествовавшаго 1848 году. Тридцатые годы были годами нъмецкаго вліянія по преимуществу и по источникамъ своимъ — изученію Шиллера, Гете, Шеллинга, Гегеля. и по общему направленію своему неопредъленно-идеалистическому, расплывавшемуся въ абстракціяхъ и скользившему по русской действительности, не зная за что ухватиться для практического проведенія въ жизнь своихъ идеаловъ. Въ 40-хъ годахъ все это смѣняется вліяніемъ французскихъ соціальныхъ системъ, и для характеристики міросозерцанія кружка Вёлинскаго и Герцена ихъ можно было бы назвать «соціалистами». При этомъ слёдуетъ, однако, отмётить, что «соціализмъ» въ позднёйшемъ смысл'ь-аггрессивномъ былъ чуждъ большинству людей 40-хъ годовъ. Вълинскій въ одномъ письмі называеть себя «соціалистомъ», но только въ смыслѣ человѣка, интересующагося по преимуществу «соціальными», т. е. общественными отношеніями. Правильн'єе, поэтому, называть наших западников 40-х годов не «соціалистами», а общественниками, и тогда подъ эту кличку подойдуть и очень радикально-настроенный Герцень, и бурный протестанть В'єлинскій, и безусловно мирные и молодые писатели, выступившіе въ конц 40-х годов съ художественною пропов'ядью новых идеаловъ—Тургеневъ, Григоровичь, Достоевскій, Некрасовъ, Салтыковъ и др. Посл'ядній изъ сейчась названных писателей кратко, но чрезвычайно ярко формулироваль общее настроеніе эпохи. Какъ и во вс'ях молодых людях конца 40-х годовъ, въ Салтыков бордиль неопред'яленный и туманный «соціализмъ», нашедшій свое выраженіе въ пов'єсти «Запутанное д'яло», благодаря которой онъ въ начал 1848 года попаль въ Вятку. И вотъ, вспоминая въ «За рубежемъ» пору молодости, т'є настроенія, подъ вліяніемъ которыхъ написалось «Запутанное д'яло», Салтыковъ говорить:

«Изъ Франціи, разум'вется не изъ Франціи Луи-Филиппа и Гизо, а изъ Франціи Сенъ-Симона, Кабе, Фурье, Луи-Блана и въ особевности Жоржъ-Зандъ—лилась въ насъ върш въ человъчество; оттуда возсіяла намъ ув'френность, что золотой в'якъ не позади, а впереди насъ».

Въ этомъ важномъ историческомъ свидѣтельствѣ драгоцѣнны не только факты, но и общій тонъ. Рѣчь какъ будто идетъ о политико-экономическихъ теоріяхъ, но на самомъ дѣлѣ воспоминанія расшевелили въ суровомъ сатирикѣ только память сердца. Тутъ не «борьба классовъ», а человівчество, не политическая экономія, а въра, и эта вѣра воспринята не сухо-логически, потому что факты и цифры неотразимы,—она возсіяла. И какъ характерно затѣмъ въ политическую экономію Луи-Блана огромнымъ клиномъ врѣзалась романистка Жоржъ-Зандъ. Но разъ люди серьезно мечтаютъ о наступленіи «золотого вѣка», то почему бы романистамъ и не играть первенствующей роли въ исторіи происхожденія этихъ мечтаній?

Необыкновенно яркое пробуждение общественного чувства въ концѣ сороковыхъ годовъ сказалось на всѣхъ отрасляхъ литературной производительности эпохи. Тѣ же самые «люди сороковыхъ годовъ», которые прежде, въ тридцатыхъ годахъ, только и думали, что объ

«абсолютахъ», о «святывѣ искусства», о «вѣчной красотѣ» и тому подобномъ, теперь до мозга костей проникаются «политикой», думами и размышленіями о томъ, справедливъ или несправедливъ существующій общественный строй, правильны или неправильны наши космогоническія представленія, нормальны или не нормальны наши семейныя отношенія и т. д. Сообразно съ этимъ поворотомъ, рѣшительно вся молодая литература изъ фазиса эстетическаго переходить въ фазисъ общественно-политическій.

Все, что появилось въ срединт и концт сороковыхъ годовъ свтжаго, убъжденнаго и талантливаго, все это примкнуло къ новому движению. Примкнулъ, во-первыхъ, Бѣлинскій со всёмъ запасомъ своего страстнаго энтузіазма. Съ тою же восторженною энергіей, съ которою «Неистовый Виссаріонъ» когда-то требовалъ отъ писателей служенія чистому искусству, онъ сталь трибовать отъ нихь опредівленной общественной тенденціи. Это же требованіе соотношенія жизни и искусства выставиль на своемъ знамени даровитый юноща, такъ рано погибшій для русской литературы—Валеріанъ Майковъ. Ярко и определенно примыкаль къ духу времени третій даровитый теоретикъ сороковыхъ годовъ--Искандеръ. Нужно припомнить силу вліянія Бфлинскаго, неотразимое обаяние ума Искандера и горячую убъжденность Майкова, чтобы понять, до какой степени должны были подчиниться проповёди новыхъ теорій молодые таланты, чуткіе ко всему искреннему и убъжденному. И дъйствительно, какимъ-то совершенно стихійнымъ образомъ, всё молодые таланты, точно сговорившись и почти въ одинъ и тотъ же годъ, предстали предъ изумленною публикою съ рядомъ превосходныхъ произведеній, въ основѣ которыхъ лежали широкія общественныя тенденціп. Явился Григоровичь съ «Деревней» и «Антономъ Горемыкой», въ которыхъ впервые былъ показавъ человъкъ въ кръпостномъ мужикъ. Явился Тургеневъ съ «Записками охотника», въ которыхъ то же желавіе очеловичить мужика было проведено съ еще большею теплотою. Явились первыя стихотворенія на народныя темы Некрасова, бросившаго подъ новымъ вліяніемъ «мечты и звуки» и посвятившаго отнынт свою музу народнымъ страданіямъ и психологін народной души. Та-же широкая общественная тенденція лежала въ основі двухъ талантливыхъ про-

изведеній, задавшихся выясненіемъ семейныхъ отношеній искандеровскаго «Кто виновать» и «Полиньки Саксь» Дружинина. «Обыкновенная исторія» Гончарова, благодаря сухости авгорскаго темперамента, является какъ бы преповёдью каррьеристской «дёловитости», но по намфреніямъ авторскимъ она должна была отразить собою «первое мерцаніе сознанія необходимости труда, ластоящаго, не рутиннаго, живого діла въ борьбів съ всероссійскимъ застоемъ». Не особенно «передового» образа мыслей быль Инсемскій, засівшій посл'я окончанія въ 1844 году университетскаго курса въ провинцін и занявшійся тамъ исключительно личною жизнью. Мало его и въ увиверситеть занимали «иден въка», а тъмъ болье въ провинціальной глуши. Но до такой степени эти «иден въка» просто въ воздухъ были разлиты, до такой степени ими была проникнута каждая журнальная статья и статейка, что даже Инсемскій, совершенно въ сторонъ стоявшій отъ передового движенія, въ первомъ своемъ произведенія—превосходной «Боярщина», настолько разко поставиль вопросъ о свободъ любви, что цензура 1847 года, пропустившая «Кто виноватъ» и «Полиньку Саксъ», не пропустила «Боярщины». которая такъ-таки только въ следующее царствование и увидела свътъ. Нужно ли много говорить о томъ, насколько решительно примыкали къ вовому течевію «Бѣдные люди» Достоевскаго и «Запутанное дъло» Салтыкова? Нътъ надобности удлинять нашъ перечень разными второстепенными произведеніями, повъстями Дурова, Буткова, прозою Некрасова и т. д. О литературф того или другого періода судять по выдающимся произведеніямь, а мы ихъ всв назвали и всв они убъждають насъ въ томъ, что одна волна захватила лучшую и талантливфйшую часть литературы, что въ одномъ и томъ же направленіи работали всё молодые умы. Яркое выраженіе этого направленія мы находимъ въ стихотвореніи Плещеева «Впередъ»; которое для насъ въ данномъ случай имветъ значение историческаго документа. Только что выступившій на литературное поприще 22-лътній поэтъ съ буквальной точностью отразиль въ своемъ стихотворении настроение молодой, нарождающейся литературы:

Впередъ! безъ страха и сомнънья, На подвигь доблестный, друзья! Зарю святого искупленья Ужъ въ небесахъ завидълъ я! Смёлёй! дадимъ другь другу руки И смѣло двинемся впередъ, И пусть подъ знаменемъ науки Союзъ нашъ крѣпнетъ и растетъ! Жрецовъ гръха и лжи мы будемъ Глаголомъ истины карать, И спящихъ мы отъ сна разбудимъ, И поведемъ на битву рать. Не сотворимъ себъ кумира Ни на земль, ни въ небесахъ; За всѣ дары и блага міра Мы не падемъ предъ нимъ во прахъ. Провозглашать любви ученье Мы будемъ нищимъ, богачамъ, И за него снесемъ гоненье, Простивь озлобленнымь врагамъ. Блаженъ, кто жизнь въ борьбъ кровавой, Въ заботахъ тяжкихъ истощилъ; Какъ рабъ лѣнивый и лукавый, Талантъ свой въ землю не зарылъ! Пусть намъ звъздою путеводной Святая истина горитъ И, върьте голосъ благородный Не даромъ въ мірѣ прозвучитъ. Внемлиге-жъ, братья, слову брата, Пока мы полны юныхъ силъ, Впередъ! Впередъ! п безъ возврата, Что бъ рокъ вдали намъ не сулилъ!

Для современнаго читателя стихотвореніе это можеть показаться собраніемь общихь мѣстъ. Но подставьте подъ туманныя выраженія стихотворенія выраженія болѣе точныя, подставьте увлеченіе тѣмъ "ученіемь любви", которое къ намъ шло изъ Франціи, подставьте, ненависть къ безобразіямь тогдашняго строя общественной жизни которою была проникнута вся молодая литература, а главное подставьте юношескій энтузіазмъ и молодую вѣру въ неизбѣжное наступленіе новыхъ, лучшихъ временъ, и вы убѣдитесь, до какой степени

горячій и искренній призывъ молодого поэта отразиль въ себѣ міросозерцаніе всей молодой литературы, которая поэтому и заучивала съ восторгомъ стихотвореніе Плещеева.

Таковы общіє контуры эпохи, выразителемъ которой явился Б'флинскій. Отражать такую эпоху, полную прежде всего великодушныхъ порывовъ, нужно было по преимуществу сердцемъ, и я ръшаюсь утверждать, что именно въ томъ, по преимуществу, великое значение Вълинскаго, что у него было великое сердце. Огромно, конечно, и чисто-умственное значение его литературнаго наслъдства. Разберитесь въ своихъ представленіяхъ о главныхъ моментахъ русской литературы и вамъ станетъ ясно, что источникъ ихъ въ разъясненіяхъ, съ такою удивительною яркостью и ясностью данных Б блинскимъ. Присмотритесь къ тому пониманію исторіи русской литературы, которое теперь уже разошлось по всёмъ учебникамъ, и вамъ опять станетъ ясно, что все это взято изъ статей. Бълинскаго о Пушкинъ, изъ его «Литературныхъ мечтаній», изъ годовыхъ обзоровъ его. Проследите, наконецъ, генетическую связь между литературнымъ движеніемъ всего ряда літь, протекшихъ послъ смерти Бълинскаго, и мыслями, идеями и настроеніями «Неистоваго Виссаріона» и вы увидите, что для Б'ёлицскаго еще не наступила исторія. У Бѣлинскаго вы всегда найдете отвѣтъ на большинство самыхъ животрепещущихъ вопросовъ современности, потому что отправные пункты путей, по которымъ шла разработка этихъ вопросовъ, намечены Белинскимъ же совершенно определенно и ясно.

Словомъ, Вѣлинскій ссть основа, первоисточникъ, краеугольный камень всей новой русской литературной мысли, живое воилощеніе всѣхъ тѣхъ новыхъ началъ, которыя сдѣлали русскую литературу важнѣйшимъ факторомъ новаго направленія русской гражданственности.

Но именно только воплощеніе. Никакое преклоненіе предъ Бѣлинскимъ не должно затушевывать тотъ фактъ, что мысли, которыя онъ высказывалъ съ такимъ огромнымъ талантомъ и силою, были мыслями цѣлаго круга людей, его вдохновлявшихъ. И этотъ фактъ не только потому не нужно затушевывать, что онъ есть правда, а еще и потому, что въ немъ рѣшительно нѣтъ ничего такого, что бы

умаляло значеніе Бѣлинскаго. Вѣдь самые-то настоящіе великіе люди тѣ, которые не сами по себъ, а отражаютъ великія эпохи. Второстепенно было бы значение Бёлинскаго, если бы онъ отражалъ одного Вакунина, одного Грановскаго, одного Герцева. Но если опъ одновременно, и притомъ по отношению къ большинству изъ нихъ съ безконечно большею силою и блескомъ, отражалъ и Станкевича, и Боткина, и Бакунина, и Грановскаго, и Герцена, то это уже значить, что онъ является центральнымъ пунктомъ знаменитвишей эпохи, выразителемъ замфчательнфишаго момента русской культуры, давшей ту плеяду великихъ писателей, которая поставила Россію на одинъ уровень съ великими литературными державами человъчества. Какъ я сказалъ въ другомъ мъсть, главная заслуга великаго критика «не въ томъ, что онъ лично додумался до всёхъ идей, имъ высказанныхъ, а въ томъ, что онъ провелъ ихъ сквозь горнило сожигавшаго его внутренняго пламени и сообщилъ имъ отнечатокъ своей пдеально-прекрасной личности. Непреходящее вліяніе статей Бълинскаго зиждется на томъ, что въ нихъ слышно біеніе сердца, безспорно самаго благороднаго, когда-либо бившагося въ русской груди, что въ нихъ сказалась шиквиъ другимъ не достигнутая высота настроенія, сила и глубина чувства. Великій праведникъ литературы русской, рыцарь безъ страха и упрека, на светлой памяти котораго нътъ ни единаго, самомалъйшаго нятнышка, былъ вивстъ съ тъмъ великимъ страстотерицемъ новой русской мысли. Онъ глубоко выстрадаль свои убъждения и въ полномъ смыслъ слова писаль лучшею кровью своего сердпа».

Печать необыкновенно высокаго духа Бфлинскаго лежить на каждой строчкф, имъ написанной, и оттого такъ жгучи понынф эти старыя журнальныя статьи и рецензін, болфе полувфка тому назадъ написанным и часто по поводамъ совершенно ничгожнымъ. Мысли старфются и становятся банальными, что можно сказать про многія положенія Бфлинскаго, превратившіяся въ трюизмы. Но истинный наоосъ никогда не старфетъ и всегда сообщается читателю. И какъ вфрующій, заглядывающій въ минуту поисковъ душевнаго утфшенія въ псалтирь, находить въ ней слова успокоенія, котя они сказаны совсфмъ по иному поводу, такъ и сочиненія Бфлинскаго, раскрытыя въ

любомъ мѣстѣ, даютъ источникъ великаго наслажденія всякому, волнукщемуся вопросами морали, назначенія литературы и выясненія истинныхъ задачъ человѣческаго существованія. Безграничное воодушевленіе Бѣлинскаго уноситъ и читателя его въ горныя вершины духа. Есть немногіе избранники, при встрѣчѣ съ которыми всякій нравственно подгягивается и куда-то далеко, далеко прячетъ всѣ мелкіе помыслы. Заразительно, вѣдь, не только зло, но и добро. Бѣлинскій—одинъ изъ такихъ избранниковъ. Въ этомъ было его значеніе въ кружкахъ превосходившихъ его знаніями пріятелей его, въ этомъ его значеніе и теперь. Въ его духовномъ присутствія отпадаетъ все ничтожное и пошлое, и всякій чувствуетъ неодолимую потребность чѣмъ-нибудь приблизиться къ его душевной чистотѣ и настроить себя въ унисонъ съ біеніемъ его великаго сердца...



Полное собраніе сочиненій Байрона въ переводѣ русскихъ писателей. Подъ редакціей С. А. Венгерова. Рсскошное изданіе, съ историко-литературными предисловіями, примѣчаніями, эстампами и рисунками въ текстѣ. (Библіотека великихъ писателей, изд. Брокгаузъ-Ефрона). Спб. 1904-1906. З тома. Ц. за З тома 15 руб., въ З переплетахъ 18 р.

Главные дъятели освобожденія крестьянъ. (Премія къ «Въстнику и Библіотекъ Самообразованія» на 1903 г.). Подъ редакціей C, A. Вемерова. Спб. 1903. Изд. Бр. кгаузъ-Ефрона. Ц. 2 руб.

Критико-біографическій словарь русскихъ писателей и ученыхъ. Историко-литературный сборникъ. Вышло 6 томовъ. (Спб. 1886—1904). Ц. Іт. 5 р. 25 к., II 2 р. 25 к. Остальные по 2 р. 50 к.

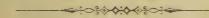
Полное собраніе сочиненій В. Г. Бълинскаго въ 12 томахъ. Подъ редакціей и съ примъчаніями C.~A.~Bemepoвa. Вышло 7 томовъ. Ц. каждаго тома 1 р. 25 коп.,

Эпоха Бѣлинскаго. (Общій очеркъ). Публичная лекція. Спб. 1905. Ц. 20 коп.

В. Г. Бълинскій. Письмо къ Гоголю. Съ предисловіемъ C. A. Венгерова. Спб. 1905 Ц. 10 к.

ПЕЧАТАЮТСЯ:

Очерки по исторіи русской литературы т. І. (около 500 стр.).



Книгоиздательство "Свѣточъ".

№ 1. Мильтогь. Ръчь о Свободъ печати (Areopagitica). (Серіж "Избранныя произведенія политической питературы" № 1) Ц. 20 к.

№ 2. В. Г. Бълинскій; Письмо къ Гоголю. Съ предисловіемъ С. А. Венгерова, (Серія "Избранныя произведенія политической питературы" № 2). Ц. 10 к.

№ 3. С. А. Венгеровъ. Эпоха Бълинскаго. (Общій Очеркъ). Ц. 20 к.

Печатаются:

№ 4. К. К. Арсеньевъ. Саптыковъ—Щедринъ. (Серія "Вожди русскаго Сознанія". № 1). Съ 4 фототипіями.

№ 5. "Свътъ Азіи". Поэма Эдвина Арнольда. (Изложеніе буддизма въ поэтической формъ). Переводъ А. М. Оедорова. 2-ое исправл. и иллюстрированное изданіе. Съ предисловіемъ академика С. О. Ольденбурга.

№ 6. С. А. Венгеровъ. Очерки по исторіи русской литературы. т. 1,

Въ дальнъйшихъ изданіяхъ "СВЪТОЧА" объщали принять участіє: акад. К. К. Арсеньевъ проф. А. А. Брандтъ, С. А. Венгеровъ, проф. Алексъй Веселовскій, В. В. Водовозовъ, Волжскій, проф. Н. И. Каръевъ, Н. И. Коробка, проф. Н. А. Котляревскій, П. О. Морозовъ, акад. С. Ө. Ольденбургъ, А. С. Пругавинъ. А. М. Эедоровъ и др.

Складъ изданій "СВЪТОЧА": 1) Книжный Складъ "Общ. Польза" Спб., Бельшая Подъяческая, 39. 2) Книжный Складъ А. Э. Винеке, Спб. Екатерингофскій, 15.

Цѣна 20 коп.







